

АЛЕКСЕЙ
ВАРЛАМОВ

18+

ОДСУН

РОМАН
БЕЗ
ГРАНИЦ

Лауреат премии

БОЛЬШАЯ
КНИГА



Проза Алексея Варламова

Алексей Варламов

Одсун. Роман без границ

«Издательство АСТ»

2024

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Варламов А. Н.

Одсун. Роман без границ / А. Н. Варламов — «Издательство АСТ», 2024 — (Проза Алексея Варламова)

ISBN 978-5-17-160185-0

Алексей Варламов – прозаик, филолог, автор романов «Душа моя Павел» и «Мысленный волк», а также биографий русских писателей XX века. Лауреат премий «Большая книга» и «Студенческий Букер» и литературной премии Александра Солженицына. Герой нового романа Алексея Варламова «Одсун» в конце 2010-х годов приезжает в Чехию читать лекции по литературе, но вместо университета оказывается в старом доме в Судетах, некогда принадлежавшем семье судетских немцев. Тайна этого дома и трагическая участь его обитателей после Второй мировой войны вызывают у героя острую рефлексию-воспоминание, где сошлись воедино и личная драма, и то, что принято называть большой историей.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-160185-0

© Варламов А. Н., 2024
© Издательство АСТ, 2024

Содержание

Часть первая. Купавна	6
Почему они не зажигают камин?	6
Pozor, pes!	9
Где я мог ошибиться?	11
Суместно обместях	14
Открывающий звёзды	17
Злые мальчики	19
Конец света	23
Гора печали	25
Гегельянец в «Тайване»	28
Слово аспирантки	30
Разбор полета	32
Ночной концерт	36
Памяти «Памяти»	40
Горячо – холодно	42
Комитет молодежных организаций	45
Пепито ест огурцы	48
Одиннадцать одиннадцать	50
Неразумные	53
Алеша хороший	56
Язык и мова	58
Твербул	60
Каммингс-аут	63
Голова Гоголя	66
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Алексей Николаевич Варламов

Одсун. Роман без границ

© Варламов А.Н.

© ООО «Издательство АСТ»

Часть первая. Купавна

Почему они не зажигают камин?

Половина пятого пополудни. Или без двадцати пяти. Вряд ли больше. Телефон мой разрядился, но я с детства чувствую время, словно бежит в груди по кругу секундная стрелка. То ускоряется, то замедляется, иногда щекотно, а иногда так больно, что хочется ее остановить. Я смотрю на человека в белой жилетке на искусственном меху напротив меня и пытаюсь понять, где мог видеть его раньше. У него невыразительное, под стать худошавой фигуре тонкое лицо, небольшой гладкий лоб, острый нос, блеклые голубые глаза, жесткие усики над вздернутой губой, редкие русые волосы, бороды нет. Не хочет отращивать или не растет? Он похож на преподавателя без степени, на старшего редактора или экономиста, но только не на священника. Однако зовут его отец Иржи, и он православный поп. Страна католическая, а он православный. Не с рождения, просто перешел несколько лет назад в нашу веру и принял сан, или как это правильно у попов называется. Вообще-то он должен прозываться в таком случае Георгий, но все обращаются к нему отец Иржи. Русского языка не знает. Речь понимает, а говорить не может. Учил когда-то в школе, потом позабыл или делает вид, что позабыл. Здесь многие забыли русский. И русских не любят. Про попа, правда, не знаю, кого он любит, а кого нет. Знаю только, что рядом с его домом есть церковь очень странной формы. Она сделана наполовину из стекла и похожа на пирамиду или, точнее, на чум, я видел такие месяц тому назад на Ямале. Только на верхушке у этого чума крест. Когда идет дождь, вода стекает по толстым прозрачным стенам. Внутри всё, как и положено в церкви: алтарь, иконостас, подсвечники, – но ощущение такое, будто ты не в храме, а в аквариуме. Или, наоборот, вдруг кажется, что там, за этими толстыми стенами, наступил всемирный потоп и стеклянная пирамидка что-то вроде ковчега спасения или подводного жилища, как в «Маракотовой бездне» у Конан Дойла, – мы в детстве смотрели с Петькой такой диафильм. Еще я знаю, что деньги на храм дал богатый человек, не захотевший себя называть. Это странно, ведь, по моим представлениям, все нынешние жертвователи и благотворители только и ждут, чтобы их имя было начертано золотом на самом видном месте. А этот таится. Не иначе бандит какой, по которому тюрьма плачет.

Рядом с храмом колокольня, но колокола на ней нет. Впечатление такое, что колокольню построили раньше и предназначалась она для других целей.

А дом у священника самый обыкновенный, добротный, только изрядно обветшавший. В таких домах веками жили немцы, покуда их отсюда не выселили. Мне этих немцев жаль. По идее, я не должен испытывать к ним сочувствия, тем более что это из-за них случился Мюнхенский сговор, про который в последнее время стали много писать, но я им сочувствую. Представляю, как они боялись окончания войны, как покидали целыми семьями свои усадьбы, церкви, оставляли погосты, а на их место привозили других людей.

Однако поп тут ни при чем. Он поселился в деревне не так давно, а до этого усадьба много лет пустовала.

Ее прежний хозяин был судьей. Когда в сорок пятом его пришли выселять, он поднялся на чердак и повесился, а потом стал являться каждому, кто пытался в этом доме жить. Но попа, судя по всему, забоялся. Или же поп не боится ничего.

Я узнал обо всем этом от древнего грека, с которым познакомился в местном трактире «У зеленой жабы», когда искал работу.

– Какую угодно. Мыть посуду, колоть дрова, таскать воду, убираться.

Барную стойку окружали смешные стулья: на спинке каждого было вырезано чье-то лицо, – старые балки были покрашены бычьей кровью, а на стенах висели чучела, шкуры и головы убитых зверей.

– Денег мне не надо. За крышу над головой и еду.

– Без позволения на побыв не можно, – не согласился Одиссей.

Это я и так знал, но что поделать, если меня обманули и не выполнили того, что обещали.

– Я экстраординарный профессор в университете Палацкого в Оломоуце, – сказал я неубедительно, но с достоинством. – Приехал читать лекции по истории постсоветского постмодернизма. У меня есть приглашение, диплом Московского университета и два рекомендательных письма.

Я произносил эти важные слова, понимая, что человек, который согласен возить грязь в «Зеленой жабе», вряд ли может быть экстраординарным профессором, да и вид у меня далеко не академический.

– Это никому не интересно, – грек даже не поглядел на мои бумаги. – А поп, если захочет, поможет.

Зачем он станет мне помогать, если никакого отношения к церкви я не имею?

– То не есть важно, – возразил Улисс, наливая пиво кому-то, чье широкое одутловатое лицо с богатыми усами напоминало деревянную рожицу на спинке стула. – В этой стране никто отношения к церкви не имеет. Чехи – самая безрелигиозная нация в Европе, – добавил он со значительностью, и я не понял, чего больше прозвучало в его голосе – гордости или сожаления.

Интересно, откуда посреди сухопутной Чехии взялся грек и сам он кто: православный, католик, атеист, агностик? Но спрашивать об этом точно не принято, и мне ничего другого не оставалось, как пойти к священнику. Полиция меня уже ищет. Хозяйка словацкой гостиницы видела мой паспорт и наверняка обо мне сообщила. Я не беженец, я – беглец с просроченной визой, но ни тех, ни других здесь не жалуют. В лучшем случае меня оштрафуют, в худшем – и это более вероятно – депортируют в страну, из которой я сюда прибыл и где живет моя вечная возлюбленная, но моя любовь к ней безответна, гибельна и безрассудна. Вот почему я сижу в доме, где нельзя говорить о веревке, смотрю на подозрительного попа, на его постную физиономию и размышляю: стукнет он на меня сразу же или позднее.

Но пока что хозяин, видимо убедившись, что я не собираюсь никуда уходить, предлагает не то пообедать, не то поужинать. Это очень кстати. Не помню, когда я последний раз нормально ел. Или он хочет меня отравить? Что-то я сделался мнителен в последнее время. И все же отравить – это чересчур. Проще выставить за дверь. Однако поп снисходит, смиряется, трапезничает вместе со мной и только что не оmyвает моих ног – видимо, его милосердие состоит в том, чтобы выгнать странника, предварительно его накормив. Правда, одна заминка все же случается. Я уже было набрасываюсь на еду, как вдруг он встает, поворачивается к иконе и принимается читать молитву. Я к такому не привык, мне еще более неловко, но откладывая ложку, тоже встаю и неумело повторяю за ним движение правой рукой от лба к животу и дальше к плечам, хотя это полная глупость. Особенно если учесть, что я не крещен.

Еду нам приносит попадьа. Очень миловидная, ухоженная женщина, намного моложе мужа. Похоже, столичная штучка, которую запихнули в силезскую глухомань на границе с Польшей. На лице у нее страдальческое выражение. К ней-то судья точно является и стоит за спиной всякий раз, когда она моет старинную посуду и ставит ее в дубовый буфет XVI века.

Скорее всего, это из-за жены Иржи сделался православным. Почувствовал, наверное, какой-то зов, призвание стать священником, но у католиков не получилось бы с семьей жить. А без семьи тоскливо, если ты не монах. Или всякие непотребства начинаются. В этом смысле я папистов совсем не понимаю, хотя сам живу один десять лет и когда был последний раз с женщиной, не вспомню. Но что за мысли, однако, лезут в голову? Не по чину и неблагодарно. А матушка тем временем подносит новые блюда, и я ощущаю себя кем-то вроде автомобиля,

который заправляют дорогим бензином, перед тем как он снова рванет в дорогу. Только вот дороги впереди нет и колеса проколоты... Красивая попадя взирает на меня безо всякого энтузиазма, и сумрачный взгляд ее темных, глубоких глаз понятен без слов: ешь скорее и убирайся, тут тебе не ресторация и не пансион. Но на улице в этот час так погано, а в комнате уютно и на столе все такое вкусное, домашнее... Не хватает лишь рюмочки, а еще лучше – запотевшего графинчика. Но я стесняюсь попросить отца Иржи, а сам он не догадывается. Мне бы действительно поскорее встать, сказать ему спасибо и уйти, пока он не попросил меня рассказать о себе, а я же не буду знать, что можно говорить, а чего нет. Да и зачем я стану втравливать в свои мутные обстоятельства неизвестного человека?

– Может быть, хотите пива, вина?

Он спрашивает это по-чешски, но я его понимаю. Этот вопрос я понял бы, кажется, и по-китайски.

– Вина.

– Какого?

– Красного.

– Франковка Модра вас устроит? Это хорошее, словацкое, – добавляет поп извиняющимся тоном.

– Давайте словацкое, – хотя от этого слова у меня неприятно схватывает в животе.

Уже почти семь. Без десяти или без двенадцати. Мне бы продержаться еще минут сорок пять. Пересаживаюсь в большое кресло возле камина, пью кислое – а каким еще оно тут может быть? – вино, глаза у меня слипаются, за окном смеркается, и слышно, как воет ветер, холодный, северный. Он гонит с далекого моря тяжелую, сырую тучу, которая приносит затяжной дождь, а я не знаю, с чего начать, и не понимаю, то ли в самом деле я рассказываю попу свой грустный травелог, то ли все это мне снится. Бутылка кончается быстро, поп открывает следующую, но сам не пьет, а за окном уже совсем темно, в окна хлещет дождь, переходящий сначала в мокрый снег, потом в мелкий лед, и я представляю огромный скандинавский циклон, который пересек Балтику и накрыл половину Европы, и благодарю за него Небеса. Полиция застряла в горах, во всем доме неожиданно выключается свет, матушка роняет непонятное мне слово «крконош» и обреченно приносит высокие белые свечи. На меня она больше не смотрит, а мне становится так хорошо, как не было давно. «Скоро начнется кино, и они меня не выгонят, – думаю я с благодарностью. – Если бы хотели выгнать, сделали бы это раньше. После восьми уже не выгонят, не посмеют. После восьми нельзя никого по закону выгонять. Как же здесь уютно! Если бы еще зажечь камин... Почему они не зажигают камин?»

Pozor, pes!

В Чьерне-над-Тисой меня никто не встречал. Накануне поздним вечером, когда я добрался до Чопа, маленький Юра написал, что меня сразу же отвезут в гостиницу, если только я сумею переехать границу, в чем он, правда, сомневается.

«Какого хрена ты вообще решил пертться через киев делать тебе боьше ничего ели тебя в чопе схвалят вытаскиваь никто не старет».

Я представил, как бы он орал в трубку, если бы это была не второпях набранная эсэмэска. Все-таки хорошо, что появился вид связи, при котором все эмоции по дороге стираются и отвечать можно не сразу.

«За что меня схвалят?»

«За яйца им ненужна причина посадят любого с руским паспортом и не вздумай никому звонит я сам должу ПТП».

Бедный, в детстве оглохший на одно ухо Юрик! Он даже не догадывался, до какой степени был прав. Я накуролесил в Киеве так, что меня должны были не то что экстрадировать, а продержать в эсбэушном зиндане до второго пришествия или до возвращения Крыма.

– Не говори гоп, пока не переехал Чоп, не говори гоп, пока не переехал Чоп, не говори гоп, гоп, гоп, – бормотал я, стоя в третьем часу тоскливой беззвездной мартовской ночи в небольшой очереди на украинском пункте пропуска. Однако, к моему удивлению, все прошло на редкость гладко. Одни меня без слов выпустили, другие равнодушно, ни о чем не спросив, впустили. Скорее всего, это случилось благодаря славянской нерасторопности. Катя оказалась права: ждали в Борисполе, на нашей или на белорусской границе, а про словацкую не подумали. Но я все равно опасался до последнего, покуда поезд из четырех вагончиков не тронулся, не переехал через Тису и вскоре не оказался на восточной окраине Евросоюза.

Пассажиры с баулами схлынули, и через минуту на заграничном перроне не осталось никого, кроме помятого, с отвратительным привкусом во рту и ночной одышкой пожилого облезлого мужика в серой куртке – именно так я выглядел со стороны. Было промозгло, ветрено, сыро, очень хотелось в туалет, но я боялся разминуться с теми, кто должен был меня встретить. Ушла электричка на Кошицу, утренняя мгла сменила ночную, и из этого марева вынырнули двое. Сунули мне под нос ксивы и жестами потребовали, чтобы я показал паспорт и открыл брезентовый рюкзачок, купленный в прошлом тысячелетии в еврейской лавке в Иерусалиме. Рюкзак был небольшой, но вместительный, прочный, и я таскал его с собой повсюду.

Вероятно, в моих грустных бессонных глазах было больше укоризны, чем кротости, потому что один из таможенников рявкнул:

– Сигареты? Сигареты колько маешь?

– Я не курю.

Они небрежно покопались в моих шмотках и неспешно двинулись в сторону подземного перехода. Что было делать дальше и куда ехать, я не знал. После пригородных электричек и местных поездов, на которых я двое суток окольными путями тащился сквозь ошалевшую Украину, здесь было тихо, сонно, и казалось, ничего не происходит. Чувство обиды постепенно улеглось, мгла окончательно рассеялась, стало еще холоднее и ветренее. Я вышел на привокзальную площадь, поглядел по сторонам и закурил.

Все это было очень странно. Я не мог ничего перепутать: городок, где Брежнев и Дубчек три дня сидели в местном Доме культуры железнодорожников и обсуждали, как правильно умыть человеческое лицо социализма. Брежнев уезжал ночевать домой, а Дубчек оставался. Это случилось в то лето, когда я родился, но у меня такое ощущение, что я помню недовольные, красные от водки физиономии своих дядьев, – они спорили о том, надо ли было вводить в Чехословакию войска.

Мимо снова прошагали служивые. К счастью, они не посмотрели в мою сторону, но я кожей ощутил опасность. Надо было сваливать отсюда, пока меня не решили проверить основательней. Я накинул рюкзак и поплелся по пустынным улочкам, мимо милых старинных домиков, четырехэтажных зданий советского покрова, островерхих церквей, которые сменились одноэтажными частными домами и палисадниками. За заборами яростно залаяли позорные псы, я пошел скорее и не заметил, как оказался в странном, неопрятном и очень бедном месте, каковое по эту сторону границы представлялось мне невысказанным. Лачуги, сараи, ветхие домишки и пятиэтажные здания наподобие наших хрущоб, только с выбитыми стеклами, но при этом усеянные телевизионными антеннами. По неприбранным, заваленным картонными коробками улицам ходили черноглазые красивые вольные люди разных возрастов, они фокусировали на мне чудные влажные взгляды, и я почувствовал себя толстым, неуклюжим зверьком. Ромы что-то радостно лопотали, их дети принялись хватать меня за руки, смуглая девочка с огромным животом преградила дорогу – резко развернулся и побежал, будто мне снова девятнадцать лет и я не успеваю вскочить с байдаркой за спиной в общий вагон мурманского поезда на карельской станции Кяппесельга. Разве что теперь, тридцать лет спустя, подводило дыхание, но я все равно бежал, чувствуя, как колышется в такт бегу рюкзачок и мягко бьет меня по спине, и не слышал, как ревет за спиной и тормозит, скрипя всеми колодками, огромный трейлер.

Где я мог ошибиться?

Сорок девять – это семь семерок. Я всегда считал семерками жизнь и особенно внимательно относился к тем годам в своей жизни, которые были числу семь кратны. Первая моя семерка была чудесна, вторая несколько хуже, третья так себе. Начиная с четвертой жизнь взметнулась, а потом все ухнуло куда-то вниз да так там и осталось. Но на сорок девять я себя все равно не ощущал. Лет накопил, а ума и денег нисколько. У Цветаевой, кажется, есть стишок про легкомыслие: «Милый грех, милый спутник и враг мой милый!» – так это всё про меня. И в сущности, именно легкомыслие и довело меня до состояния, в каком я теперь оказался. Плюс неумеренное любопытство. Два моих скользких конька.

Я тарачился всю дорогу по сторонам, а подобравшая меня машина все ехала и ехала – мимо заснеженных гор, рек, ручьев, еще не вскрывшихся озер, черных елок, деревушек, одиноких домов, горнолыжных трасс, отелей, отреставрированных или полуразрушенных средневековых замков, и мне ужасно нравилась эта картина. Она была чем-то похожа на волшебную страну из сказки про девочку Элли. Водитель мой, к счастью, ни о чем не спрашивал. Ему было достаточно того, что он обругал меня на неизвестном наречии, а потом сжалился и увез от цыган. Кто он был по национальности, я не понял. Номера у трейлера значились испанские, но, когда я попробовал заговорить на языке этой страны, он отрицательно помотал головой. Может, каталонец был, а может, баск, однако мне так нравилась большая послушная машина и этот невозмутимый добрый человек, что я был готов ехать с ним куда угодно по гладкому дорожному покрытию сквозь земное пространство.

В половине первого я стал проваливаться в сон, но то и дело виновато просыпался: казалось нечестным спать, покуда человек слева от меня работает, да и сонливость – штука заразная, но он невозмутимо вел свой долгий вагон, каких на российских трассах я всегда боялся и закрывал глаза, когда друг мой Павлик лавировал меж ними на пятнистом армейском джипе. Однако тут все двигались мирно, никто не сигналил, без нужды не обгонял и не вылезал на левую полосу. Горы то отступали, то приступали к дороге, мы ныряли в туннели и выходили на поверхность, съезжали с больших дорог на второстепенные, забираясь все выше; я не знал, куда едет таинственный сепаратист и что везет, но вскоре наши пути сделались такими узкими и крутыми, что было непонятно, как может эта длинная неповоротливая машина вписаться в горный серпантин.

В четверть шестого пошел дождь, который сменился снегом. Фура ехала тяжело, но при этом очень уверенно, не буксуя на подъемах и плавно тормозя на спусках. Иногда навстречу попадались автобусы или другие фуры, и тогда оба водителя останавливались и, как в сложнейшей хирургической операции, проплывали буквально в сантиметрах друг от друга. Несколько раз мы зависали над пропастью, фура замирала, и я прощался с жизнью, однако баск был невозмутим. Ни тени волнения или довольства собой не было на его сосредоточенном, уверенном лице, когда ему удавалось, никого не задев, пройти очередной крутой поворот. Наконец мы взгромоздились на заснеженный перевал, спустились на несколько витков и остановилась возле харчевни с гостиничкой на втором этаже. Она называлась «У мамы» и смотрела на дорогу смешной вывеской:

Добре пивечко, добре винечко, добре едло.

Водитель остался ночевать в машине, а я пошел в отель, плача от умиления и восторга. Была пора равноденствия, но весна здесь запаздывала, пахло сырой хвоей, талым снегом, пели птицы в лесу, и мне почудилось то сонное умиротворение, каковое давно искала моя измученная душа. Я стал напевать про себя песню, под которую мы обнимали своих подружек в медленном танце в стройотряде в степи под Целиноградом, а над нами светили близкие яркие

звезды и падала за горизонт полная луна в те ночи, когда на Байконуре запускали космические корабли. И хотя пожилая словачка, встретившая меня на первом этаже, была так же похожа на калифорнийскую деву, как и я на одинокого странника на темном пустынном шоссе, номер «У мамы» был чистый, просторный, окна смотрели на церковь с высоким шпилем и небольшую площадь, постель была широкая, мягкая, с зеркалом на потолке и большой ванной прямо посреди жилой комнаты – вероятно, апартамент предназначался для любовных пар. Я грустно вздохнул и тотчас провалился в сон, как в обморок, и – редкий случай – спал без сновидений, хотя иногда мне слышались сквозь тяжкую дрему детские голоса.

Когда я вывалился обратно в действительность, над горами поднялось солнце, было тихо-тихо, а трейлера с его безмолвным вагоновожатым уже и след простыл.

Одиннадцать одиннадцать. Черт возьми! Я должен был ехать с баском дальше, я просил накануне хозяйку, чтобы она меня разбудила, и не виноват, что проспал. Какого черта? Торопливо сбежал вниз и увидел светлую террасу, на которой был накрыт завтрак с сырами, колбасами и йогуртами, но самое удивительное – с рогалями, которые продавали в мое пролетарское детство за 5 копеек в булочной на углу Автозаводской улицы, наискосок от райкома партии, и я считал их навсегда исчезнувшими из жизни. Я был очень голоден и набросился на еду и, если бы не эта животная жадность и изобилие утренних яств, наверняка удивился бы тому, что отель был пуст. Однако впечатление складывалось такое, что ночью в большом каминном зале пиروвало человек двадцать. И куда они, интересно, делись? Группа какая-нибудь, наверное, экстренная...

«Колько маєте рожков?» – ласково спросила добрая пани, и мой гнев вместе с недоверчивостью и любознательностью рассеялись, как облачко над перевалом.

Завтрак назывался раняйками, фрукты овощами, овощи зеленью, свежий хлеб черствым, колбаса клобасой, ветчина шункой, а продукты потравинами. Я плюнул на всё и решил остаться «У мамы» и ждать дальше указаний от Пети, тем более что горнолыжный период закончился, гостиничка по случаю межсезонья пустовала и стояла совсем недорого. Спросил на всякий случай у хозяйки, не ожидается ли новая группа. Она удивилась моему вопросу и даже с какой-то грустью ответила, что никаких групп давно не было, да и вообще в гостинице из-за кризиса теперь редко бывает народ. Это показалось мне несколько подозрительным, но все же не до такой степени, чтобы отсюда сразу же сбежать.

Просыпался я поздно, съедал свои рожки с шункой, уходил на весь день гулять по городку и его окрестностям, и не было ничего более прекрасного, чем эти прогулки с медленными подъемами и спусками, и ранние сумерки, и звезды над горами, и встававшая из-за темных склонов печальная луна. Снег в распадках еще лежал, но ручьи были полны водой, вода падала повсюду, шумела, пела, плясала, и чудилось, что я нахожусь в каком-то ошеломительном, звенящем водном царстве. Хотелось ходить и ходить, подниматься на вершины, ночевать в лесу у костра, но уже не позволяли ни силы, ни годы – одышка, спина, ноги... Ну хотя бы так, поглядеть издалека, полюбоваться...

Вечерами пани Тринькова зажигала камин, ждала меня с ужином и волновалась, если я задерживался дольше обыкновенного. Хозяйка была очень добра ко мне, а может быть, все дело было в том, что ей надоело выпивать в одиночестве. Она не делала вид, что забыла русский, и почти без ошибок, с приятным акцентом рассказывала о дочери, которая уехала в Лондон и звонит очень редко, о муже, которому врачи поставили много лет назад плохой диагноз, но Франц не стал ложиться в больницу, а вместо этого они перебрались в Татры, где он прожил лишние двадцать лет. Пани ругала Европейскую унию, из-за которой все подорожало, с тоской вспоминала словацкие кроны и сердилась, что правительство ее страны оказалось таким уступчивым и слабым, ведь все соседи Словакии оставили свою валюту и жили гораздо лучше. Еще она говорила о любви к России, где они с мужем дважды были в туристической поездке, один раз в Киеве и Ленинграде, а другой – в Тбилиси и Ереване. Ленинград ей понравился

больше всего, но и остальные города были прекрасны, а люди везде показались ей очень гостеприимными и отзывчивыми.

У меня была такая же оскомина от ее благодушных речей, как когда-то в университете, когда на кафедре в девятой аудитории взгромождалась штатная пропагандистка гуманитарных факультетов Валерия Ивановна Чаева, воспевала советскую Родину и поносила разлагающийся Запад; хотя – поймал я вдруг себя на мысли – если бы добрая словацкая пани принялась мою страну ругать, мне сделалось бы еще досадней.

Угнетало лишь безделье. Всю жизнь я проработал в издательстве, в архивном отделе, я любил документы, моему сердцу и уму были милы тайны, что они скрывают, пересечения людских судеб и духи истории – да и не в них даже было дело, а в том, что обыкновенное бессмертие, с которым я сталкивался каждый день среди архивных папок, отчасти примиряло меня с ролью прихлебателя при богатом человеке.

Павлик это понимал. Он как-то сказал мне, что самый счастливый человек на свете – Пимен из «Бориса Годунова».

– Я уверен, что Пушкин изобразил в нем мечту о собственной старости.

Если бы мы не сидели тогда в одноименном ресторане на Тверском бульваре, где нас звали то сударями, то господами, я бы расхохотался, но положение обязывало. Ведь не я Петю в «Пушкин» позвал, а он меня. И не я его, а он меня должен был облагодетельствовать. Я не сомневался, что и теперь Павлик выручит, спасет, однако март был на исходе, а по-прежнему не было ничего ни от него, ни от маленького Юры. Я звонил каждый день по нескольку раз, я писал эсэмэски, но Юра не брал трубку, а Петин телефон был выключен; не отзывалась даже электронная почта, и меня все больше мучила тревога. Да, я мог разминуться с теми, кто должен был меня встретить, что-то перепутать могли они, и мне, наверное, было бы логичнее остаться в Чьерне-над-Тисой, но в любом случае Павлик должен был дать о себе знать. Я понимал, что у него помимо меня забот хватает, он большой человек, а я для него так, каприз, дань сентиментальным дачным воспоминаниям детства, но то, что он про меня забыл, я исключал.

Ведь я сделал всё, как он велел. Он просил, чтобы я срочно уехал, я так и сделал. Если сначала надо на Украину, то я полечу с пересадкой, чудом пройду через украинских погранцов, буду мучить свою память, вляпаюсь в историю с эсбэушником и едва унесу от него ноги. Но, Петя, милый, словаки дали мне визу всего на две недели. Ты же сам сказал, что рабочую ждать очень долго и надо въехать по туристической, а там видно будет. И как теперь? У меня нет денег, что я скажу пани Триньковой? – она волнуется, переведи хотя бы чуть-чуть.

Но он молчал, и мне приходилось утешаться нашими последними московскими разговорами, когда я задавал те же вопросы и слышал в ответ:

– Не беспокойся, ты все получишь, как я обещал. И деньги, и работу в университете, и поволение на побыт.

– Это что такое?

– Вид на жительство.

– На каком основании?

Павлик только посмеивался, а я знал, что он всемогущ и для него не существует никаких преград. И потому теперь не понимал, куда он мог деться и для чего меня бросил, сказав напоследок нечто совсем странное про Купавну, куда меня должны будут отвезти после границы. А вдруг он на меня за что-то обиделся или узнал такое, что переменяло его ко мне отношение? А вдруг я повел себя неправильно в Киеве и он ждал от меня другого? Эта мысль меня хлестанула, и я стал мучительно перебирать события последнего времени. Что я мог сделать не так? Где ошибиться? В чем? Спрашивал себя и не находил ответа. А впрочем, интуиция никогда не была моей сильной стороной.

Суместно обместях

– Простите, святой отец, вы что-то спросили? Ах да. Кто такой Петя и почему я называю его Павликом? Тут нет никакой ошибки. Павлик – его фамилия. Петя Павлик. Это отдельная история, и если вы не хотите, чтобы я заснул в этом кресле, то благословите, батюшка, выпить еще вина. Оно действует на мой организм отрезвляюще. Мне нравится, как горят ваши свечи! А интересно было бы узнать, часто ли у вас отключают электричество? В Купавне это случалось почти всякий раз после грозы, а грозы там были не редкостью. И какие грозы! Я с тех пор таких нигде и не видал, все как-то поблекло, пожухло в подлунном мире. Так... соберутся на небе тучки, потрутся друг о дружку, блеснет далекая молния, погремит кое-где, поворчит и пройдет стороной. А тогда, бог ты мой, как страшно замирала природа, только слышался плач младенцев, когда приближались и сталкивались черные дрожащие облака, как сверкало, высвечивало небо и озаряло тьму, с каким чудовищным треском гремело вокруг, как отчаянно лупил дождь и сыпал град, какой бешеный дул ветер, пригибая деревья к земле, и как радостно они раскачивались и плясали, заламывая ветки, и гром от одной молнии не успевал стихнуть прежде, чем сверкала другая. Пробки в доме мы отключали еще до начала грозы, но иногда молнии били так близко, что в комнате вспыхивали электрические лампочки и включалось с треском старенькое ламповое радио.

Это была всамделишная война между небом и землей, которая, казалось, никогда не прекратится, и все завершится концом света. Самые маленькие прятались под столом и плакали, хулиганистые становились смиренными, неверующие крестились, а верующие читали молитвы, но потом, когда туча уходила и в воздухе пахло озоном, мы выбегали босиком на улицу и прыгали по теплым глубоким лужам, радуясь тому, что мир уцелел и жизнь вернулась, и вместе с нами горланили счастливые петухи в деревне за однопутной железной дорогой. Садоводы и садоводки подсчитывали убытки: побитые кусты, поломанные деревья и разбитые окна, – бабушка приносила из сарая керосиновую плитку и зажигала керосиновую лампу, и мы догадывались, что на ужин будет что-то очень простое и необыкновенно вкусное вроде жареной докторской колбасы с хлебом. Взрослые говорили, что частые грозы происходят из-за большого количества воды, которая окружала наши участки, но мы-то знали, что дело в другом, о чем нельзя говорить вслух, тем более с посторонними.

А происходило все это в Купавне, в благословенной старой Купавне, куда меня отправляли в детстве каждое лето на три месяца. Вам, батюшка, этот топоним, скорее всего ничего не скажет, а между прочим, красивое название и место было под стать – всего один школьный урок на электричке с Курского вокзала. У нас был там садовый домик. Конечно, не такой, как у вас здесь. Дощатый, щелястый, холодный, с крышей из шифера, и это еще считалось хорошо, потому что у многих хозяев кровля была сделана из рубероида и часто протекала. Но все равно домик был очень уютный, родной, своими руками построенный, а главное – никому до нас не принадлежавший. На первом этаже располагалась узенькая застекленная терраска с выцветшими занавесками, обеденным столом и репродукцией «Сикстинской Мадонны», топчан, табуретка для ведра с чистой водой и подпол, который мы использовали вместо холодильника, а дальше две смежные комнатки. Одна побольше, с диваном и окнами в сад, другая, поменьше, с железной кроватью, выходила на улицу на восточную сторону. В этой комнатке жил я, и когда просыпался в солнечное утро, то ветхие кружевные занавески отбрасывали тени на дощатой стене, и я смотрел, как они перемещаются. По этим теням можно было определить, который сейчас час, и мне кажется, именно тогда я приобрел способность чувствовать время. Хотя, скорее, этому помог мой отец. Однажды он научил меня считать секунды, прибавляя к каждой цифре двадцать два. Раз двадцать два, два двадцать два, три двадцать два, четыре двадцать два, пять двадцать два, и тогда ты пойдешь вровень со временем. Я, кстати, проверял это

потом на уроках физкультуры в школе. Хлеб Батонович (так звали мы учителя Глеба Борисовича) иногда давал нам задание двигаться по кругу ровно минуту, которую каждый считал про себя, и было очень забавно смотреть, как мои одноклассники останавливались кто на сорок второй секунде, кто на сорок девятой, кто на пятьдесят шестой, а некоторые на шестьдесят третьей, и только я никогда не ошибался.

На втором этаже нашей дачки не было ничего, кроме старых газет, литературных журналов и брезентовой байдарки; мы любили туда лазать и смотреть сверху на наш посёлок. Он появился в конце пятидесятых годов на болоте, которое осушили купавинские пионеры и среди них – мой дед с бабкой. Это были славные, крупные люди, каких сейчас уже не осталось. Они состояли к тому моменту в разводе лет двадцать, но бабушка, единственная из четырех законных дедовых жен – а незаконных было не счесть, – родила ему детей, и именно им он подарил участок. Точнее, моей матушке, но какое это имело значение, если все у нас было общее? Суместно обместях, как любила приговаривать бабушка. И со всею жаждою, любовью, тоской, обидой, ревностью и благодарностью к неверному мужу она принялась вместе со взрослыми сыновьями и зятем осваивать эту землю, так что к тому времени, когда я родился, мещерское змеиное болото превратилось в райский вертоград. Яблони и вишни разных сортов, кусты смородины, жимолости, сирени, черемухи, шиповника и мелких белых розочек, грядки с овощами, зеленью, клубника, парники. Это была их личная поднятая целина, их обретенная родина, их пядь земли, которая годилась, чтобы видеть в ней приметы не абстрактной родины, а свое, кровное, милое. Так было у всех хозяев, ибо в уставе садоводческого товарищества была прописана его высшая цель: создание коллективного сада, – а это ведь все равно что построить коммунизм в одной отдельно взятой Купавне. Но, знаете, отец Иржи, иногда я думаю, что, в сущности, эти добрые сотки настоящий коммунизм и погубили. Потому что если прежде можно было убедить людей от своего отказаться, жить и умирать ради общего будущего, то теперь вместо дальнего у народа появилось ближнее, личное, настоящее. Неимущие вновь стали мелкими собственниками, утратив революционную наготу, и грандиозный советский проект погас, потух, растаял, растекся, рассыпался по дачным товариществам от Калининграда до Владивостока. Да, те самые дачки, что некогда убили чеховский вишневый сад, меньше чем сто лет спустя обрушили громадную державу эсэсэра.

Разумеется, советское нас долго не отпускало, и каждый год правление товарищества во главе с председателем Кукой обходило участки и проверяло, как используется данная владельцам во временное пользование государственная земля, и ставило оценки. Их вывешивали на доске почета и позора возле правления, и какой же стыд был для хозяев, если они получали ниже четверки! Как обижались, расстраивались, ревновали друг к другу, как злились на придирчивого Куку или заискивали перед ним! Но старались они не только из-за страха или стыда, а потому, что дорвались, истосковались по земле; и я представлял себе этих удивительных людей, которые столько намыкались, перетасили, вынесли на себе в предшествующие годы, и вот теперь им наконец дали роздых и утешение: восемь соток своей земли – и разрешили построить на них деревянные домики. Но только дощатые, не срубы, без печного отопления и площадью не больше, чем тридцать квадратных метров; а если кто-то нарушал закон, от него требовали убрать лишнее. И мои добрые дядюшки едва не поссорились насмерть из-за того, что один схватился за топор, чтобы сократить выступающую на полметра террасу, а другой схватил его за грудки:

– Не ты строил, не тебе и рубить!

Однако детей эти распри не касались. Мы жили счастливо и безмятежно. А точнее, наоборот, мятежно, как и положено в отрочестве и в юности жить.

Про свою детскую кроватку и манеж под яблоней врать не стану, я плохо помню то время, хотя какие-то подробности память хранит и я часто вижу бабушку, которая носит меня на руках и называет имена самых простых и важных вещей. Среди них была красивая, мерцающая

уголками зола, куда однажды я сунул руки, думая, что это песочек. От моего крика вздрогнули часовые на Бисеровском полигоне, а руки вылечил соседский доктор. Но намного лучше я помню, как сначала мне строго-настрого не разрешали выходить за калитку на улицу и я мог играть только в саду, потом нельзя было уходить с улицы, еще через год – из поселка, а потом, когда мне исполнилось десять лет, передо мною открылась вся купавинская окрестность, и какой же чудесной она оказалась!

Открывающий звёзды

Погодите, я скоро дойду до Пети Павлика, но прежде мне требуется подготовить сцену, на которой он появится.

С южной стороны к нашим участкам примыкало большое поле, его звали прокурорским, потому что слева от него находились дачи генеральной прокуратуры. На поле поочередно сажали овес, кукурузу и рожь, и в июле мы любили есть неспелые молочные зерна и прятаться среди колосьев. Но самые прекрасные дни наступали в августе, когда на поле приезжали комбайны и убирали урожай, а после них оставались стога. В них можно было нырять и кувыряться, а потом долго стряхивать с себя или смывать кусочки соломы. За полем рос смешанный лес, не очень большой, но разнообразный, со своими полянками, чащами, ягодниками, с грибами и даже с лосенком, которого я встретил однажды весной и замер от восторга. А если смотреть от наших ворот на восток, можно было увидеть на горизонте кудиновскую церковь. Издалека она казалась высокой и стройной, но когда однажды мы поехали туда на великах, то обнаружили полуразрушенное здание; под дырявым куполом сидели вороны, которых мы вспугнули, и они долго с криком носились над неприбранными могилами; и встретился нам еще странный худенький паренек с нечистым лицом, он шел с велосипедом, держа его одной рукой за руль, а другая была поднята в пионерском салюте.

Еще дальше на севере... Простите, что я так подробно об этом рассказываю, но мне бесконечно дороги эти подробности. Это моя родина, понимаете, батюшка? Я в детстве рос хорошим мальчиком и очень любил стишок, который вы наверняка не знаете, но я-то его выучил наизусть. Там было про последнюю гранату, которую человек заносит в своей руке и вспоминает самое дорогое, что у него было, – родину, какой он увидел и запомнил в детстве. И так сладко мне было представлять, что я умираю за свою маленькую Купавну... а теперь вот я сижу в чужом доме и прошу у вас милости, да еще смею мысленно попрекать.

На севере находились пруды рыбхоза. Большие, заросшие вдоль низких берегов камышом и тростной. Для нас они были предметом зависти и тайны, и мы представляли огромных зеркальных карпов, в которых каждый из нас мог отразиться во весь рост. Они никогда не показывались на поверхности, но мы прозревали их сквозь толщу зеленой воды, хотя в рыбхозе не то что ловить рыбу или купаться, но даже смотреть в ту сторону было запрещено, и с детства каждый купавинский мальчишка выучивал историю про сторожа, застрелившего нарушителя рыбного царства и не только за это не наказанного, но получившего награду.

И все же наше самое любимое место располагалось на западе. Как написали бы в каком-нибудь путеводителе, то была жемчужина Купавны – Бисеровское озеро. Окруженное со всех сторон лесом, с нашей стороны – дубовым, влажным, такие леса мне встречались потом только в Мещёре, на берегах Пры, – да, собственно, Купавна и была окраиной Мещёрской низины, – с церковью на правом от нас берегу и загадочными водопьяновскими дачами на берегу противоположном, озеро было не очень широким, наверное километра полтора или чуть меньше, но переплывать его рисковали немногие, а тех, кто все же так делал, вылавливал спасательный катер, увозил на базу за глухим зеленым забором, и никто их больше никогда не видал.

На озеро мы ходили купаться и ловить рыбу чаще всего. Там раньше, чем на карьерах, прогревалась вода и можно было поймать окуней, зайдя по пояс в воду и привязав к пальцу леску, а потом дожидаться темноты, когда к берегу подплывали крупная плотва или карп, которые рвали наши легкие снасти. Но если карпа случайно удавалось поймать, какое же это было счастье! Мне повезло лишь однажды, однако карпа отняли деревенские мальчишки— они не любили дачников и всегда с нами дрались. И когда, побитый, ограбленный, я шел в одиночестве по темному шоссе домой, мне казалось, что нет в мире более несчастного человека, чем я, и более страшной потери у меня уже никогда не будет. И все-таки это была жизнь, батюшка,

которую, в отличие от карпа, никто не отнимет, и я могу эту жизнь перед вами засвидетельствовать. Простите, если я опять впадаю в излишнюю патетичность, но когда мне придется умирать, не с гранатой в руках конечно, а гораздо обыденней – в судетском рву, я буду вспоминать Бисеровское озеро, дорогу к кудиновской церкви, дощатую дачу за покосившимся забором, прокурорское поле, иргу, что попевала первая из ягод – из ее веток мы делали удилища, водокачку, под которой я однажды нашел семь подосиновиков, и бабушка пожарила их в сметане. Я смахну слезу, если не возражаете, и попрошу вас принести мне водочки, поскольку вино все равно кончилось, да и какой от него, честно говоря, прок?

...Итак, мы были окружены с трех сторон водой, и наш поселочек располагался на своеобразном полуострове. Надо было только выбрать, куда ехать купаться или идти ловить рыбу. Многое тут зависело от ветра: если он был южный или западный, мы шли на карьеры, если северный, со стороны Старой Купавны и отравлявшего округу завода «Акрихин», тогда на озеро, а если задувал редкий юго-восточный ветер и приносил вонь с фильтрационных полей, то лучше было никуда не ходить, и все дачники закрывали окна.

А еще у наших улиц были имена. Одна была улица Лады, другая Собачья, третья Цветочная, Тенистая; была еще Зеленая, потому что когда-то все дома на ней были выкрашены в зеленый цвет. Наша называлась Звездной, потому что на ней жил студент, открывший звезду. Правда-правда! У него был телескоп, который он привез из-за границы, где в детстве жил с родителями. И вот прозрачными купавинскими ночами астроном-любитель залезал на крышу и смотрел в небо. Ни о чем другом мы не мечтали так страстно, как хотя бы раз в жизни в его телескоп поглядеть, но он никому этого не разрешал. Высокий, черноволосый, страшно обаятельный и недостижимый, с детства выучивший язык звезд, он казался нам совсем другим, чем парни его возраста, как если бы купавинский звездочет родился и вырос в другом мире и в другие времена, хотя имя у него было самое обыкновенное, как и у сотен тысяч советских детей, рожденных в те годы: Юра. Мы обращались к нему всегда на «вы» и звали между собой Юрой большим, потому что был еще Юра маленький – тот самый, кто впоследствии присылал мне эсмэски и работал у Пети Павлика начальником охраны.

Да, батюшка, я не просто любил Купавну, я в ней спасался. Мое городское детство в английской спецшколе среди московских заводов, здания теплоэлектростанции, окружной железной дороги и пролетарской шпаны было тесным, и маленьким мальчиком я больше всего любил крутить старую бабушкину швейную машинку «Зингер», потому что гудение ее колеса напоминало стук колес электрички, увозившей меня с Курского вокзала на дачу, и три месяца в том краю становились противоядием, благодаря которому я сумел выжить. Три месяца абсолютного счастья, воли, воздуха, ветра, дождей, туманов, лун, солнц. Если бы можно было там остаться, если бы можно было не знать того, что произойдет потом...

Злые мальчики

Петя был одним из купавинских дачников, сыном доктора Павлика, который лечил мои руки после того, как я неудачно засунул их в золу. Доктор запомнился мне как славный, добрый, но уже довольно пожилой и невзрачный человек небольшого роста, с пустыми бесцветными глазами и остриженными в кружок волосами. Его молодая жена мечтала о другом мужчине и другой судьбе. Она почему-то вообразила, что доктор женился на ней обманом, когда она была совсем юной, и продолжает пользоваться ее молодостью не по праву. Изменять мужу, таиться, лгать Света считала ниже своего достоинства и однажды попросту выставила бедолагу за дверь, разрешив ему при этом видиться с сыном столько, сколько оба пожелают. Павлик, однако, вернулся к себе под Херсон, там женился на еще более молодой и не в пример Светке благоразумной женщине, родил двоих сыновей, и новая семья полностью его поглотила. Светка же, пережив несколько стремительных романов, так и осталась одна.

В детстве я часто слышал, как ее звали кукушкой, злыдней, говорили, что Петька ей только мешает и она все время хочет его куда-нибудь сбегать. Но мне она нравилась. Красивая, рослая, с тяжелыми золотыми волосами и полными губами, она совсем не походила на трудолюбивых и скучных купавинских садоводок в линялой прозодежде. Ее не интересовали ни редкие сорта ремонтантной клубники, ни желтая малина, ни крыжовник, ни рецепты царского варенья, она презирала все овощи, фрукты и ягоды, вместе взятые, и даже розы и гладиолусы не веселили ее взора. Ее воротило от грузовых машин, которые привозили на наши участки навоз или торф с фекалиями, и все это вываливали на улице перед забором, а дальше хозяева в течение дня должны были вонючую кучу убрать.

Светка насадила на своем участке елки, сосны и березы, посеяла газон и повесила гамак. Днем она загорала, читала, а потом уходила купаться, плевать хотела на все условности, никогда не бывала на общих собраниях, а когда к ней однажды пришли из правления и стали возмущаться тем, во что она превратила участок, Света просто выставила депутатов за калитку.

– Мы лишим вас статуса члена садоводческого товарищества! – заорал потный от жары и власти Кука.

– Попробуйте, – лениво ответила она и поправила узкую ляжку на отдельном красном купальнике.

Соседи ее осуждали. Если бы она была женщиной более обеспеченной, то эту фронтонду еще можно было бы понять. Но жили они с Петькой бедно, у пацана даже велосипеда своего не было. Иногда к ней приезжал спортивного вида чернявый мужичонка на салатном «москвиче». Они готовили шашлык, а после накормленного мясом мальчика усылали гулять часа на два.

Петя был рыхлый, толстый, с такой простодушной физиономией, оттопыренными ушами и красивыми коровьими глазами на мокром месте, что не разыграть его было невозможно. Над ним и издевались. Особенно когда играли в жопки и ему выпадало водить. Петька хныкал, сопливился, бегать ему было тяжело, он бросал мяч вполсилы, что было против правил благородной игры, и мы ему на это всегда указывали, называя жухалой и пиная мяч куда подальше. Тогда он плакал и убегал. Однако слоняться одному по саду с газоном и соснами и знать, что в это время пацаны стучат в американку или собираются на карьер, было тоскливо, и через некоторое время он возвращался, но мы были неумолимы: сначала ты должен отыгаться в жопки. Петька обреченно шел домой и там изводил мать, плакал и просил, чтобы она купила ему велосипед.

Однажды Светке это до такой степени надоело, что она попыталась сама уладить конфликт сына с большими мальчиками и приперлась к нижним воротам, где мы обыкновенно собирались. Ничего более безумного представить было нельзя, но, как теперь мне кажется, она

просто хотела нас победить, обаять своей красотой, улыбкой, чувственностью этих маленьких задротов, которые уже давно беспокойно просыпались по утрам и не могли понять, что происходит с их отвердевшей штуковиной, ибо целомудренные советские родители пускали дело полового просвещения юных пионеров на самотек. А она стояла перед нами в обворожительно коротком сарафане в красный горошек, крупная, с большими бедрами, тяжелой грудью, возможно, даже получала какое-то удовольствие, когда мы на нее пялились, но нашего уважения к ее сыну это точно не прибавляло.

Моя сложность в отличие от других пацанов заключалась в том, что Петька был мне соседом и у нас был общий с ними колодец, а бабушка Марина Борисовна предпочитала со всеми соседями ладить. Даже если они были неправы. И для Светки у нее тоже имелось оправдание.

– У нее долго не было детей, – бабушка осторожно подбирала слова. – Потом родился Петя, а прошлой зимой заболел свинкой. Для мальчика это очень плохо.

Он правда был странноватый и с годами становился лишь чуднее. Обожал выжигать, пилить лобзиком и строить на карьере песочные замки. Мы уже давно из этой забавы выросли и предпочитали играть в ножички или в шпионов, а Петька, как маленький, сооружал немыслимые строения, башенки, стены, прокладывал подземные тоннели и делал все это с такой любовью и тщательностью, словно это была не куча песка, которая через несколько часов рассыплется, а вечная пирамида. И дела ему не было до наших споров, у кого самый козырной ножик и сколько пальцев можно просунуть между лезвием и землей, если нож воткнулся криво. Он не ходил вместе с нами подглядывать за тетками, переодевавшимися в кустах орешника на берегу озера, не лазил за чужой клубникой, не подкладывал гвозди под старенький паровоз, возивший песок с карьера, а самозабвенно строил зыбкие города, и мне хотелось к нему присоединиться, но я боялся, что меня засмеют, а кроме того, воспоминание о красивой золе с горящими угольками обжигало руки.

А еще Петя обожал читать книги, но не обычные, какие мы все читали, а нечто просветительское, научно-популярное – про занимательную физику, химию, астрономию, – оставшееся в доме от его незадачливого отца, и я помню, что когда нам все-таки не хватало игроков в двенадцать палочек и мы заходили за ним, то в руках у него всегда был желтый том из детской энциклопедии.

– Слышь, ребзя, – говорил он, захлебываясь от восторга, – материя состоит из атомов, а атомы из ядер и электронов. И электроны вращаются вокруг ядер так же, как планеты – вокруг солнца. Прикинь!

– Ну и что? – Для меня слово «материя» означало лишь кусок ткани, из которой бабушка шила одежду – ничего покупного до поступления в университет у меня не было.

– Как «ну и что»? – Он остановился посреди улицы, шмыгнул носом и мотнул лобастой головой. – Это значит, что мир устроен одинаково от самого маленького до самого большого.

Мне это не показалось тогда интересным, хотя позднее я подумал, что если Петя прав, то это свидетельствовало о том, что мир был сотворен по единому авторскому плану, и наш маленький друг самостоятельно пришел к сему идеалистическому выводу.

Помимо того, Петька знал наизусть кучу звезд, которые высыпали над нашими домами, помнил имена всех космонавтов и астронавтов, обожал таблицу Менделеева и мог часами ее рассматривать, любил логарифмическую линейку и прочую мутотень, про которую в Купавне, где, слава богу о школе можно было не думать, мы и слышать не хотели. Но он не переставал учиться никогда, и это вызывало у нас раздражение и, возможно, какую-то зависть, как если бы мы наперед знали, что именно этот толстый, нескладный, нищий ребенок нас всех обскачет.

Впечатлительность, как и память, у него была неестественная. Когда после гроз случались затяжные дожди, мы ходили к маленькому Юре смотреть диафильмы. Оставив внизу сандалии и полукеды, по винтовой лестнице забирались на второй этаж его самой лучшей в поселке дачи с железной крышей и часами крутили цветные картинки с подписями. Петька обожал их до

дрожи. Он забывал обо всем на свете, ему нравился полумрак, медленное вращение пленки, которое ты мог сам регулировать, задерживать картинку, и ни с какими мультиками по телевизору это было не сравнить. Его завораживал голос Юрика: тот – надо отдать ему должное – умел его то повышать, то понижать, то затаивать дыхание или вскрикивать, и тогда фантастические космические корабли, дальние планеты, затерянные миры заполняли пространство длинной, узкой, похожей на гроб комнаты.

Но больше всего Петю поразила диафильм под названием «Андромеда» – о вторжении инопланетян на Землю. Там была героиня – красивая, необыкновенная девушка, которая родилась в результате научного эксперимента и оказалась кем-то вроде космической диверсантки, посланной завоевать нашу планету. Петьку это настолько шибануло по мозгам вкупе с атомами и электронами, что он едва не помешался. Не мог остановиться и, когда заканчивался один диафильм, просил, чтобы мы смотрели другой, а потом возвращались к «Андромеде».

Вечером мы вываливались на улицу и не понимали, где находимся, но сам окружавший нас мир: деревья, рожь, небо, облака, луна и звезды – все это было продолжением того, что мы видели. И когда наутро начинались жопки и Петю снова обижали и гоняли по жару, он убежал от нас в лес, куда ему строго-настрого было запрещено уходить, падал лицом на землю и плакал – не знаю о ком или о чем: о папе Павлике, с которым Светка его разлучила, об атомах и электронах, редких металлах, птицах, рыбах – и, может быть, тогда ему чудились тихие голоса, какие начитанный советский мальчик принял за голоса инопланетян.

Мы были жестокие дети, уцепились за них и придумали игру про летающую тарелку. Фантазии у нас было немного. Рассказали Петьке, что база НЛО находится в поле среди ржи, в том месте, где ледник приволок такой огромный валун, что никаким трактором невозможно его было убрать и он торчал посреди поля словно каменный островок. Это был и впрямь загадочный камень, на нем спокойно могло поместиться несколько человек. Посреди имелось большое углубление, от которого во все стороны расходились трещины. Камень считался жертвенным, там было что-то языческое, связанное с кровью, о нем писали в научных журналах, но прошлое нас интересовало мало, а инопланетяне – много, и мы рассказали Петьке, что местность эту пришельцы выбрали не случайно, ибо всем мальчишкам в Купавне было известно, что в лесу за Бисеровским озером расположен секретный подземный объект. Над озером время от времени пролетали военные самолеты, вертолеты и еще какие-то странные летательные аппараты, и Юрик рассказывал, как однажды он ходил на полигон за чернушками, а земля вдруг разверзлась и из нее показались ракетные установки. Вот именно они, говорили мы Петьке, притягивают в Купавну грозы и интересуют пришельцев, и необходимо победить этих зловредных существ, которые хотят с помощью молний поджечь нашу землю изнутри.

Это было, кстати, батюшка, вполне возможно. Несмотря на обилие вод, Купавна стояла на торфяных болотах, и после того как дачники осушили их одно за другим, торфяники в жаркое лето горели. Всю округу заволакивало тогда дымом, взрослые бросали дела и принимались рыть новые каналы, а старики на деревне поднимали голову к небу и молили его старинными словами:

– Дажь дождь жаждущей земле.

Так вот, мы сказали Петруше, что огненную базу инопланетян можно залить водой, но ее требуется очень много. Он слушал нас недоверчиво, но, когда Юрка дурацким завывающим голосом возгласил, что под землей в эту минуту и все это время горит черный огонь, вокруг которого сидят инопланетяне, и если адское пламя вырвется наружу и отбросит гигантскую тень, то все живое, в нее попавшее, вмиг погибнет, и его родители тоже, судорога исказила нежное лицо ребенка. Он понесся домой за ведерком, а потом побежал к канаве с лягушками и тритонами, что была на участке у химиков. И весь день носил это белое пластмассовое ведро через поле, черпал воду и снова бежал, толстый, запыхавшийся, в белой панамке и дурацких коротких штанишках, – он тушил подземный пожар и спасал землю от черного костра инопла-

нетян. А мы выливали воду в жаркую трещину, возвращали ему пустое ведро и ухохатывались, и, когда Петя предлагал и нам поучаствовать в переноске воды, говорили, что только он может выполнить такое важное задание.

Конец света

Разумеется, вся эта операция проводилась в строжайшей тайне и Петька был предупрежден, что если кто-то узнает про пришельцев, то план по спасению Земли будет провален и планета погибнет. Он ничего никому и не сказал, но назавтра Светка сама нас выследила и, когда ее маленький сын в очередной раз потащился в глубину поля, ворвалась как фурия в наше убежище и отняла у Петьки ведро.

– Слушай ты, писулька, шавок задрипанный! – Она моментально вычислила заводилу, окатила его водой и ударила в самое больное место: Юрик был на три года старше нас, но роста почти такого же, и рост этот уже практически себя исчерпал.

Юрка пытался восполнить недостаток накачкой мышц, он был весь такой крепенький, гладкий и при этом скользкий, будто маслом обмазанный, с плотно прижатыми к голове ушками, похожий на бобра, но от Светкиного гнева его это не спасло. Она ухватила злого мальчика за ухо и при всем честном народе стала таскать по полю и бить по щекам.

– У него же сердце больное, уроды! Он же мог прямо здесь...

Матерные слова, как горох, посыпались из ее чувственного рта, это были не простые ругательства, а изысканнейшие сочетания слов, каковые никто из нас никогда не слышал. Юрик орал, плакал, сучил ногами, но как ни старался, не мог от Светки отделаться, а я подумал, что она похожа не на кукушку, а на разъяренную медведицу, с чьим детенышем вздумали поиграть глупые люди. Она точно была не в себе и, скорее всего, оторвала бы это несчастное ухо, но тут Петька, с ужасом поглядев на всех нас: на Юру, на мать, на рожь, на небо, на жертвенный камень, – вскрикнул:

– Что ты наделала? Зачем ты мне помешала?

Он удрал тем же вечером из дома, и его искали всем поселком по берегам карьера и озера, в лесу и на поле, в рыбхозе, расспрашивали кассиршу на платформе, говорили с мужиками, ошивавшимися в пивной возле станции, спрашивали спасателей на Бисеровском озере, но никто не видел толстого мальчика в клетчатой рубашке и сандалиях на босу ногу. Петя вернулся домой на следующий день без десяти одиннадцать, и я не знаю, о чем они говорили с матерью, но поздним вечером она отвела сына к большому Юре, чтобы тот разрешил ему посмотреть в телескоп и убедил, что никаких инопланетян не существует.

Не знаю, удивился ли студент этой просьбе и можно ли было таким простым способом доказать наше одиночество во Вселенной, однако впоследствии Павлик рассказал мне, что дачный астроном прочитал ему целую лекцию.

– Наша планета уникальна, – говорил большой Юра, расхаживая по чердаку аккуратного щитового домика с мансардным окном. – Если бы она была всего на несколько десятков миллионов километров ближе к Солнцу, то все живое сгорело бы. А если бы на несколько миллионов дальше, замерзло бы. Повторить такое невозможно. Никто Землю извне не погубит, если только мы не сделаем это сами.

Петька слушал его с жадностью и потом полночи смотрел в телескоп на планетарные туманности, звездные острова и рассеянные скопления, на двойную звезду Альбиро в созвездии Лебедя, и Юра объяснял ему, почему в телескопе звезды мерцают и дрожат сильнее, чем когда смотришь на них невооруженным взглядом. Еще он говорил, что звездный мир – это не совокупность отдельных светящихся точек, но нечто упорядоченное, организованное и звезды указывают людям земные пути и предсказывают будущее.

– Звезды знают о нас то, чего не знаем о себе мы сами, и, если научиться читать сигналы, которые они посылают, жизнь на Земле станет честнее и справедливей.

Наутро Павлик пришел к воротам и сказал, что хочет отыгаться. Он носился по переулку как блуждающая комета, надсадно дышал, хрипел, словно паровоз, но в конце концов засадил мяч в задницу своему учителю.

– Не было, – сказал Юрка нагло.

– Было, было, было! – заорал Петька.

Юрка неуверенно, просяще посмотрел на нас.

– Было, – не могли не зафиксировать мы факт Петиной первой победы.

Но маленький Юра оказался злопамятен и свое унижение Светке не простил. В очередной раз, когда к ней приехал ухажер на «москвиче» и Петю отослали на прогулку, Юрка приперся позднее обычного.

– А мать-то твоя! – сказал он при всех пацанах и насмешливо посмотрел на Петьку. – Как там стонет, как орет под своим хахалем!

Мы были в том возрасте, когда не вполне понимали, что он имеет в виду, хотя, очевидно, это было что-то гадкое. Петя побледнел, а я – сам не знаю, что на меня нашло, может, тайная детская влюбленность в Светку, – бросился с кулаками на Юрку и, воспользовавшись его растерянностью, поставил ему под глазом фингал. Разумеется, он тотчас же пришел в себя и безжалостно меня отколошматил, можно сказать, взял реванш за свое унижение, но это была, отец Иржи, одна из немногих достойных минут в моей жизни, которой я когда-нибудь попытаюсь оправдаться и доказать, что все-таки не зря был выпущен в этот мир. А кроме того, полагаю, именно здесь кроется причина Петькиного доброго ко мне отношения в последующие времена.

Несколько дней спустя над Купавной разыгралась такая страшная гроза, что если бы я знал тогда про апокалипсис, то решил бы, что он настал. Гроза пришла с юго-запада, когда мы были на озере, свалилась брюхатой аспидной тучей, и мы едва успели выскочить из воды и схватить велосипеды. Прятаться было негде, мы мчались наперегонки с ветром и дождем, и, когда проезжали мимо черной водокачки на пересечении Бисеровского шоссе и одной из садовых улиц возле товарищества слепых, золотая кривая молния ударила в саму водокачку. Я видел, как она вклеилась в черное железо и металл превратился в дрожащую, похожую на ртуть жидкость. Меня пронзило током, ударило электричеством от старенького велосипеда, от воздуха, воды, я потерял на мгновение сознание, а потом закрутил изо всех сил педали, забыв о том, что делать, если тебя застигнет гроза. И я помню своей поднявшейся над землей душой, как всю дорогу, не соблюдая никакой очередности, разноцветные молнии лупили в высокие деревья, в зеркало воды, громоотводы, антенны, крыши, машины, в две разрушенные церкви, в старенький паровоз, так что тьма не наступала ни на секунду.

Когда мы подъезжали к нашим участкам, гроза уже уходила, но еще издалека был виден дым. Горела одна из дач, и я уже догадался чья. Я далек от мысли, что силы небесные покарали маленького Юру, я человек трезвый, рассудочный, мистику не люблю и полагаю, что это было просто совпадение плюс редкая для наших домов железная крыша. Однако дачу его родители восстанавливать не стали, и пепелище много лет зияло посреди бедных опрятных домиков, а потом заросло крапивой и на фундаменте грелись змеи.

Вскоре после этого наша компания распалась. Светка продала фазенду и купила кооперативную квартиру в Зеленограде, и я на много лет потерял обоих пацанов из виду. Не могу сказать, чтобы сильно по ним скучал. Если и скучал по чему-либо, так это по диафильмам.

Гора печали

Вот уже неделю я живу в батюшкином доме. Помогаю хозяину по мере сил в храме или в саду, хотя никакой особенной помощи там не требуется, но, как человек деликатный, он, видимо, не хочет, чтобы я чувствовал себя нахлебником.

По воскресеньям в церкви собирается народ, не очень много, однако человек двадцать приходит. Приезжают из соседних деревень и даже из Польши. Жена священника, две их дочери и сын поют в хоре, предлагали петь и мне, но я никогда не остаюсь на службу. Ухожу гулять вдоль ручья. Матушке это, похоже, очень не нравится, и она считает меня сектантом. Я ее боюсь и правильно делаю. Она производит впечатление весьма властной женщины, и мне кажется, все в доме держится на ней. Она отвозит детей в школу, ездит каждый день на работу в курортную больничку на горе, воюет с призраком судьи, а батюшка служит. Не для людей – для Бога, потому что в будние дни в храме никого нет, а он все равно служит.

Мне это трудно понять. Мое сознание не до такой степени вертикально устроено, а вот поп наверняка что-то чувствует – другого объяснения у меня нет. Надо быть очень стукнутым, чтобы бросить работу, квартиру в городе и переехать в горную деревушку вместе с женой и тремя капризными детьми в дом с привидением, да еще каждый день испытывать женское скрытое и явное недовольство и желание к чему-нибудь прицепиться. Например, ко мне. Я это физически ощущаю и уверен, что матушка ругает мужа из-за меня, твердит, что у них будут неприятности, говорит, что у них дети и нельзя быть таким доверчивым и беспечным. На каком основании они должны мне доверять?

– С русскими надо быть осторожным. Может быть, этот бездельник – путинский шпион и пробрался сюда с заданием нас отравить? Отравили же в Англии отца с дочерью! – вопит Анна на весь дом, и я хорошо слышу ее торопливые нервные слова, которые мне даже не надо переводить. Славянские языки так устроены, что, когда ты в общих чертах представляешь, что именно хочет сказать другой человек, ты его понимаешь.

Но Анне, кажется, на это наплевать. А может быть, она даже хочет, чтобы я все слышал.

– Знаешь ли ты, отче, что написали недавно на двери гостиницы в Острове?

– Что, любовь моя?

– Русские здесь не обслуживаются!

Но батюшка только улыбается в ответ. Он немножко блаженный, и ее это раздражает, однако конфликтовать с ним всерьез она опасается: видимо, у ее власти есть пределы и она чувствует черту, которую нельзя переступить.

Мы не говорим с отцом Иржи о моем будущем, я не знаю, как велико его милосердие и сколько продлится мое пребывание в этом доме. Я вручил ему свою судьбу вместе с новеньким заграничным паспортом и истекшей визой и в ответ занимаюсь тем, что подметаю и без того чистый храм и жду, пока вырастет газон, чтобы его постричь. Как работник Балда, с той только разницей, что во мне нет балдовской расторопности, а в нем поповской жадности, и потому ничего, кроме крова и харчей, мне здесь не полагается. Всё справедливо. Именно так, как я хотел в том смешном старинном кабачке, где у каждого постоянного посетителя есть личный стул с вырезанной физиономией на спинке. Так было заведено при прежних хозяевах, а потом после войны позабыто, но хитроумный эллин традицию возобновил, чтобы бороться с конкуренцией, – кому не радостно посидеть на именном стуле, на котором, кроме тебя, никто сидеть не будет?

Я хожу иногда на другой конец деревни и разговариваю с греком. Он мне чем-то симпатичен. Мы с ним тут единственные иностранцы. Конечно, я гораздо в большей степени, чем он. Но все равно. Он как будто бы чех и не чех. Ребенком его привезли в эту страну, и он прожил здесь всю жизнь. Рассказывает поразительные вещи про то, как их вывозили из Греции. Там

шла тогда гражданская война, и детям греческих коммунистов разрешили уехать. Ему было четыре с половиной года, его братику два. Их везли трое суток в закрытых машинах по балканским дорогам, почти не останавливаясь. Братик дороги не вынес. Умер. Мне это кажется странным. Они же должны были ехать – я мысленно представил – через соцстраны: Албанию, Югославию, Венгрию. Почему нельзя было задержаться, оказать детям помощь, накормить, позвать врача?

– Тито поссорился со Сталиным.

– А дети-то при чем?

– Дети всегда при чем.

Грек наливает пиво и протягивает мне кружку. Затем, поразмыслив, кладет тарелку гуляша.

– Нас распределяли по разным странам. Мне еще повезло. В Венгрии греческих детей заставляли работать с утра до вечера на полях подсолнечника, как рабов. Но зато мы всегда держались вместе. И попробовали бы хоть одного обидеть – всей шоблой навалили бы, – говорит он с угрозой и проводит руками по лицу, как будто умывая его.

– А ваши родители?

– Они приехали позднее, но я с ними не жил. – Эллин поскущел. – А в семьдесят четвертом вернулись в Грецию.

Запутанная история, как, впрочем, и с судетскими немцами. И сколько еще таких? Меня однажды занесло в Поронайск. Это городок на Сахалине на берегу залива Терпения. Там была одна женщина, кореянка, она работала в детской библиотеке и рассказывала, как их гнобили до войны японцы, а после советская власть: никуда не выпускали с острова, не давали гражданства, не разрешали ни учиться, ни работать где хочешь, – а она все равно сумела получить высшее образование и зла на свою страну не держала. И очень переживала, когда та развалилась. Логика никакой. Но тетка мировая, и дети ее обожали. Рассказывала еще, как ее пригласили на открытие памятника сахалинским корейцам на горе Печали в Корсакове, где ее земляки собирались после сорок пятого года, всматривались в море и ждали, когда за ними придет корабль с родины. А он так и не пришел...

– Я так плакала там, так плакала...

На сдержанную кореянку это было не очень похоже, но, видно, тут прорвало.

Грек же весьма любознателен и, на мой взгляд, сверх меры политизирован. Не знаю, это национальное или личное, но он несколько раз спрашивал меня, за кого я голосовал на наших выборах в марте.

– Ни за кого.

– Но почему? Голосовать – это долг каждого гражданина. – Седые жесткие эллинские волосы и иглы усов сердито топорщатся: похоже, сейчас в «Зеленой жабе» начнется урок по экспорту демократии.

– В тот день, когда проходили выборы, я находился в другой стране, – отвечаю я занудным голосом.

– Ну и что? – возражает Улисс. – Там разве не было вашего посольства?

– Было. Но туда никого не пускали.

– Такого не может быть, – качает он крупной породистой головой. – Никакое государство не имеет права ограничить доступ граждан другого государства в их посольство. А тем более в день выборов. Эта страна находится в Европе?

– Ну это как посмотреть.

О том, что творилось в день российских выборов в Киеве, я умалчиваю. Никаких дополнительных очков мне это не даст.

А грек между тем намекает мне на то, что все происходящее в моих интересах. Ведь чем хуже сейчас в России, тем больше у меня шансов получить политическое убежище. Как было во времена СССР. У вас же сейчас снова СССР. Так?

Господи, что он в этом понимает? И какое еще убежище? На каком основании мне его дадут? А Улисс расходится все больше, учит меня, как жить и что говорить, он искренен и правда жаждет мне помочь. Но мне не хочется ничего выдумывать. Я ищу покоя и хочу понять одно: где друг моего детства со Звездной улицы в садоводческом товариществе «Труд и отдых» близ 2-го Бисеровского участка?

Гегельянец в «Тайване»

Странно не только то, что он мне не звонит, не пишет и не отвечает на звонки и эсэмэски. Еще более непонятно, что ничего не пишут о нем. Обыкновенно в интернете новостей, связанных с Петром Павликом и его благотворительным фондом, тьма. Здесь он дал интервью, там что-то провел, выступил, тут проспонсировал, где-то еще профинансировал, открыл, учредил, поддержал, пожертвовал, наградил, поощрил, отобедал, вошел в попечительский совет, стал членом, многочленом, почетным председателем, был избран, переизбран, приглашен, введен, включен, согласован, утвержден... И вдруг – тишина. Я начинаю даже волноваться, хотя в общем-то волноваться особенно не из-за чего. Если бы что-то случилось, маленький Юра уже сообщил бы. Петя и раньше пропадал на целые месяцы, и никто не знал, где он находится.

...Мы встретились с ним в университете, в том здании, что называлось в просторечии стекляшкой и выходило торцом на проспект Вернадского. Я впервые увидел его после дачной истории и глазам своим не поверил: Петя, Петюня, мой купавинский друган, спаситель нашей планеты, поступил, как и я, в универ, пусть даже на другой факультет. Я – на филологический, а он – на философический. Вроде бы и там и там фил, но разница дьявольская! Они были очень серьезные, такие ученые кролики, кураевы, галковские, зятя междуевы, а мы – веселые, бесшабашные с нашими девчонками, с нашей латынью и старославом. Сам Петя несильно изменился, разве что сделался еще более толстым и теперь вряд ли смог бы играть в жопки. Но когда я, радостный, подошел к нему на сачке, он не то что бы меня не узнал, нет, он узнал, вежливо поздоровался, спросил что-то незначительное, но в общем было понятно, что я ему неинтересен. Купавну он вспоминать не захотел, и не потому, что ему было неприятно, а просто выкинул ее из головы как вещь лишнюю и обременительную.

Я спросил, верит ли он по-прежнему в то, что мир устроен одинаково от ничтожно малого до великого. Петя пожал плечами и сказал, что с вращением электронов все оказалось несколько сложнее, чем он предполагал, и речь идет скорее не о вращении элементарных частиц, но об облачной вероятности. Вообще он сделался еще более сосредоточенным, и со мной ему было говорить не о чем и незачем. Павлик с утра до утра занимался тем, что, как ежик, собирал знания, общался на равных с аспирантами и молодыми преподами, после лекций и семинаров отправлялся в фундаментальную библиотеку и, если бы было можно, оставался б там ночевать. Он был, безусловно, лучшим студентом на своем курсе, а может быть, и на всем факультете. Это признавали все и за глаза звали его Кантом, хотя самого его эта кликуха страшно злила.

Он был – насколько я могу судить в силу своих убогих представлений о царице наук – убежденный гегельянец, полагал, что идеи существуют не в сознании, а в реальности, и верил в неизбежность противоречий, из которых может развиваться нечто путное. Над ним посмеивались, однако никто ему не завидовал, никто с ним не соревновался, потому что это было бесполезно; а главное, глядя на этого бесполого, мешковатого юношу в очках с толстыми линзами и гладко зачесанными назад сальными волосами, открывавшими обширный выпуклый лоб, все сразу понимали, какую надо заплатить цену и что принести в жертву ради своего успеха. Его научное иноческое будущее было расчерчено и очевидно: синяя рожа, красный диплом, аспирантура, защита кандидатской, работа на кафедре, докторская, и так до Академии наук.

Но вышло иначе. В середине третьего курса знайка вдруг задурил. Он перестал ходить в универ, выкинул за ненадобностью читательский билет и поклялся, что больше не притронется ни к одной книге. Основным местом его пребывания сделалась пивная «Тайвань», располагавшаяся справа от огромного здания китайского посольства. В те годы оно пустовало, а пивная была среди студентов университета весьма популярна, хотя пиво там отдавало содой. Но, с другой стороны, а где оно тогда было лучше? Само же китайское посольство отделял от

пивнухи метровый заборчик, на котором народ в теплое время года любил сживать, и милиция гоняла нарушителей государственной границы. Заведение было известно еще тем, что в семьдесят девятом, когда Китай напал на Вьетнам, под темными окнами посольства собирались студенты, швыряли снежки и чернильницы, и память об этом событии передавалась от поколения к поколению, обрстая немислимыми подробностями.

Именно в «Тайвань» с самого утра к открытию отправлялся лучший философ курса. Очень скоро он сделался знаменит, получил прозвище Петр Тайваньский, к которому, в отличие от Канта, отнесся весьма благосклонно, с ним дружили парни с разных факультетов, одни консультировали его, других консультировал он, и по сути Павлик мой превратился в некий параллельный по отношению к университету центр. Как объяснял он мне сам позднее, на одиннадцатом этаже ему в какой-то момент просто стало скучно, а на двенадцатый его не пропустили из-за избыточного веса. В истории, философии, гносеологии, логике, религии и атеизме, в этике и эстетике он все для себя уже понял и захотел узнать иное. «Тайвань» был идеальным для этого местом. Общаясь с самым разным народом, – а кого там только не было: умников, дураков, диссидентов, мистиков, эзотериков, стукачей, книжников, бездельников и поэтов, – Петя без книг практически освоил программу всех факультетов и сам сделался университетом. Я, возможно, утрирую, и он бы с этим никогда не согласился, но правда, это был очень и очень умный мальчик с замечательным мочевым пузырем: никто не мог выпить столько пива и так долго обходиться без туалета. Павлик переставал всех.

А одним из его собеседников, батюшка, был, представьте себе, большой Юра, который заканчивал о ту пору аспирантуру физфака и забегал в «Тайвань» выпить кружку пива по дороге домой. Задерживался он в заведении обыкновенно ненадолго, поскольку вечно был занят, писал мудреные статьи, ездил на научные конференции, а еще, как потом выяснилось, распространял запрещенные книги. Звездочет был со всеми одинаково приветлив, но близко никого до себя не допускал, и Петька оказался единственным, кто по-настоящему сумел занять его внимание. Было ли это как-то связано с Купавной и с той ночью, когда по просьбе Светки Юра открыл перед маленьким беглецом ночное небо, утверждать не возьмусь, но частенько двое бывших купавинских дачников вместе выходили из китайской пивнухи. Не договоривши своих разговоров, они шли на Воробьевы горы и дальше кружным путем мимо цеховского гетто спускались к реке, переходили по железнодорожному мосту и топали в сторону Юриного номенклатурного дома, плавной дугой изогнувшегося на левом берегу Москвы-реки наискосок от Киевского вокзала. Я знал об этом, потому что ходил в университетский турклуб и наш добрый тренер Валерий Павлович Конюшко по прозвищу Конюх устраивал нам по этому маршруту вечерние пробежки. Увлеченные беседой, двое мыслителей меня не замечали, а я обгонял их с печалью и ревностью – мне бы очень хотелось, чтобы они меня вспомнили и взяли к себе.

А потом Юра исчез. Петька грустил по своему старшему товарищу, пытался его разыскать, однако все было безуспешно. Астроном как в воду канул. Слухи ходили самые разные, а какое-то время спустя Петю Павлика вызвали в главное здание университета на девятый этаж. Там веселый голубоглазый дядечка, числившийся проректором по общей безопасности, доверительно рассказал ему, что аспиранта давно хотели засудить за любовь к самиздату, но вмешался его отец, много лет проработавший в журнале «Проблемы мира и социализма», и от греха подальше отправил парня в армию.

- А следующим тебя заберут, – захохотал проректор.
- У меня белый билет, – возразил философ уныло.
- Всё равно заберут. Только уже не в армию.

Слово аспирантки

На факультете Павлика по-прежнему жалели и не отчисляли, вызывали на деканат, утешали, продлевали сессию и надеялись, что он образумится и вернется, но все было тщетно: Петя так и не одумался. Тем не менее его, скорее всего, дотянули бы до диплома, если бы не помешанная на Фейербахе преподавательница с кафедры марксистско-ленинской философии, которая читала диамат и нам. Она отказалась ставить гегельянцу на экзамене тройку, притом что он ей все ответил и про материализм, и про эмпириокритицизм. В сущности, то была уже агония этих дурацких предметов, никто не требовал присягать на верность партии и правительству, нужно было только знать и излагать материал, можно было спорить с чем-то, не соглашаться, критиковать культ личности и ночные декреты советской власти, даже отстаивать первенство духа над материей и ставить в центр мировой разум – все это приветствовалось и считалось знаком обновления, ускорения, гласности и перестройки, но Петюню было решено примерно наказать. Некоторая справедливость в этом присутствовала: именно в Петре Павлике увидела угрозу своей драгоценной науке и причину всех государственных бед похожая на цыпленка божья старушка Чаева, которая в годы войны вылавливала на освобожденных территориях девушек, спавших с немцами. Петя в ее догматических глазах был явлением родственным: изменником, шатуном, шалуном и пятой колонной.

– Компромиссы допустимы в малой степени в экономике, – критически оценила Чаева процесс перестройки и непроизвольно затрясла маленькой, изящной, как у кобры, головой. – Но в идеологической борьбе им места нет. Как ветеран партии, я намерена писать письмо в цэка.

Увы, только что вернувшийся в Москву после переговоров с баронессой Тэтчер глупый мышонок Горби ее восьмистраничному посланию с цитатами из Ленина и предостережениями против оппортунизма и ревизионизма не внял. А сына доктора Павлика таки отчислили в восемьдесят восьмом году как последнего эмгэушного диссидента и антисоветчика одновременно с публикацией «Доктора Живаго» в «Новом мире». Однако в «Тайвань» он все равно продолжал ходить, ничего дурного про свой факультет не говорил, и три года спустя, когда идеологическая борьба была кафедрой научного коммунизма всухую проиграна, внезапно разбогатевший гегельянец стал давать альма-матер деньги на ремонт, книги и именные стипендии для студентов. Кроме того, Петя назначил пожизненное содержание обнищавшей после закрытия ее кафедры Чаевой, в чем некоторые углядели изысканную месть, хотя мой купавинский товарищ был просто добр душою и помогал всем, невзирая на их взгляды.

О тайваньском периоде в его жизни я больше ничего не знал, потому что в сторону китайского посольства чаще ходили студенты с естественных факультетов, а гуманитарии предпочитали пивной бар с автопоилками на улице Строителей за метро «Университет». Но была одна девушка, аспирантка с кафедры общего языкознания Валечка Макарова, высокая, тонкая, очень чувственная, стерва порядочная, которая однажды сказала, что отдастся тому, кто сводит ее на Таганку на «Мастера и Маргариту». Сказала в присутствии нескольких человек, один из которых был мне крайне неприятен. Плюнуть на нее надо было, но у Валечки был такой завиток волос возле уха, что я не мог с собой ничего поделаться.

И тогда я поехал на Таганку. Но это было бесполезно. Какие билеты? Там занимали очередь за несколько суток и чужих не пускали. А уж на «Мастера»... Кого я мог разжалобить – Любимова? Смехова? Дупака? (Это директор театра, если кто не знает.)

Но именно там, в ночных очередях, которые держали ребята из физтеха и МИФИ, я узнал про уникального чувака с чудной фамилией, который, если ты ему приглянешься, может сделать билеты на любой спектакль, а искать его надо в университетской пивной на улице Дружбы.

... Больше всего меня поразило, как Павлик был одет. Вместо мешковатых штанов и ботинок «прощай, молодость» он носил хорошие джинсы, американские армейские сапоги, пуловер и очки в дорогой оправе. Голову он теперь стриг наголо, отчего выглядел довольно зловеще, и даже богатый прикид не скрадывал его внешнего уродства, но придавал бывшему философу жутковатый шарм. В этот раз он был со мной гораздо любезнее. Сказал, что билеты достать, конечно, может и сделает это для меня по дружбе по минимальной цене, но не лучше ли послать такую девушку куда подальше? Я с ним мысленно согласился, однако в театр мы всё равно сходили, и, хотя спектакль Валечке не понравился, слово свое аспирантка сдержала.

А мы с Петюней потом хорошо постояли в «Тайване». Постояли, потому что сидячих мест там не было. Видимо, для того чтобы народ не задерживался. Но кружек все равно не хватало, и у Пети имелась своя фирменная банка из-под консервированной айвы. В помещении не разрешали курить, и периодически возникали менты, которые штрафовали тех, кто им попадался, но – ни разу Петю. Они как будто не замечали этого большого центрального человека с резкими складками на голой голове. Зато время от времени к нему подходили мелкие целевые люди и о чем-то негромко договаривались. До меня доносился шелест манящих слов и наименований, среди которых билеты в театр были не самым главным призом. Но еще больше меня поразило, что Павлик ничего не записывал, а все запоминал и, как когда-то названия созвездий, держал в своей лобастой кочерыжке всевозможные марки джинсов, батников, водолазок, запасные колеса, австрийские сапоги, мебельные стенки, кассетные магнитофоны, банки с красной и черной икрой и еще черт знает что в рублевом эквиваленте конца эпохи развитого социализма.

Диспетчер мой в тот день был в лирическом расположении духа и рассказал о том, что занялся фарцой не от хорошей жизни. Светка вышла замуж, муж ее зарабатывал немного, и помогать сыну она не могла. Да он и не просил ничего. Сам ей деньги давал. Ей и своему херсонскому папаше. Злые языки говорили, что Павлик был связан с ОБХСС, с ментами и даже с гэбухой, которая взяла его под покровительство после встречи с дружелюбным проректором в главном здании. Не знаю. Я ничего в торговых операциях не понимал, но помню, как тогда меня это все резануло и я почувствовал себя разочарованным и обманутым.

Не из-за порочных связей. Нет. А просто, Петя, этот светоч Петя Павлик, который смотрел на звезды в телескоп большого Юры и сделался его другом, играл в жопки, спасал Землю от инопланетян, раскрыл механизм устройства Вселенной и пел гимны периодической таблице Менделеева, – этот интеллектуал, интеллигент, любомудр, объективный идеалист, краса и гордость Московского университета стал спекулянтом, жуликом, фарцовщиком пусть даже ради ближних. Мне казалось тогда, что мы живем в такое время, когда стыдно думать про деньги, стыдно копить, ты же потом жалеть об этом будешь, Пьерушка. Страну надо возрождать. Я напился и обличил его с ног до головы. Он выслушал меня очень внимательно и заплатил за пиво.

Разбор полета

Сегодня хозяин дал мне выходной, и я брожу весь день по окрестным горам. Я нахожусь здесь уже почти две недели, денег у меня по-прежнему нет, документы окончательно просрочены, и с каждым днем мое положение усугубляется, хотя я стараюсь об этом не думать. Кто знает, может быть, потом я буду вспоминать это время с благодарностью? А может быть, никакого «потом» не будет, но я боюсь священника. Мне кажется, он умеет читать мысли, ну или, по крайней мере, с интуицией у него, в отличие от меня, всё в порядке. Он совершенно точно знает обо мне и моей жизни гораздо больше, чем я рассказываю, а может быть, даже больше, чем знаю о ней я сам. Наверное, это конфессионально-профессиональное. И все-таки вряд ли его способности действуют на расстоянии. Сейчас, когда я далеко от его дома, то позволяю себе думать о своем.

Внизу видна деревня, церковь, железнодорожная станция и сама железная дорога, которая огибает холмы, вьется, и видно, как неспешно идет по ней старенький поезд из нескольких вагончиков. Именно что идет, а не едет, словно нащупывает себе путь и боится свалиться с кручи. Потом останавливается на станции Горни Липова, она самая ближняя к нам, высаживает и принимает горстку пассажиров и движется дальше в сторону Остружны. С высоты поезд похож на игрушечный, и я вспоминаю, как папа подарил мне на день рождения железную дорогу. Очень простую, небольшой круг, по которому носился заводной паровозик. А у маленького Юры была немецкая, электрическая, с разными поездами, станциями и стрелками, и я ему завидовал, идиот.

Я ухожу все дальше, следуя указателям, которые обещают привести меня к горной хижине, и там можно будет сделать пикник. Мне нравятся эти лесные дорожки со стрелками: сколько километров отсюда до лечебницы, до города, до мельницы, до заброшенной шахты и до вершины горы. Иногда по пути попадаются непонятные сооружения, похожие на заброшенные военные объекты: бункеры, дзоты, окопы, – и я вспоминаю, как в военных лагерях под Ковровом мы проходили обкатку танками. Это оказалось совсем не страшно и напомнило наши дачные игры в войнушку. Гораздо страшнее сейчас, когда я ложусь у края обрыва и смотрю вниз. К избушке поднимаюсь обессиленный, к четырем часам, хотя собирался быть тут не позже половины второго, доползаю до порога и долго не могу пошевелиться и отдышаться.

В хатке прибрано, чисто; достаю пиво, бутерброды, в запасе у меня бутылка местной водки сливовицы – ее подарил Одиссей. Очень хочется разжечь костер, но делать этого нельзя, и мне становится грустно, потому что костры – моя любимая забава с детства, и везде, куда бы я ни приезжал, я всегда старался развести огонь. А тут это невозможно. Конечно, наши помойки посреди леса не лучшая альтернатива, и можно представить, как выглядел бы такой домик в России, но почему нельзя, чтобы была и чистота, и костры в лесу?

Сажу на деревянной лавке, смотрю на ветряки вдаль и пью пиво, как когда-то в «Тайване», который давно закрыли. Рассказывали, что туда любил ходить старший внук Брежнева – Леонид. Он учился на химфаке, и однажды компанию молодых людей, отмечавших медиану, загребли в ментовку. Внук был не очень похож на деда, и, когда назвал свою фамилию, а затем еще и имя, парня отметили с особой тщательностью и усердием. Потом, правда, так же тщательно извинялись, но злачное место все равно решили упразднить, чтоб не было соблазна. Я не поленился, проверил этот рассказ в интернете, и получилась нестыковка, ибо внук Брежнева учился в универе гораздо раньше, чем закрыли пивную. И тем не менее история мне понравилась. Говорят, Павлик очень переживал за «Тайвань» и пытался его выкупить, но в ту пору его возможности не были такими обширными, а главное, изменились отношения с Китаем, посольство ожило, наполнилось людьми, чернила со стен и окон были смыты и о конфликте семьдесят девятого года старались не вспоминать. Пивнуха же с ее вызывающим

народным названием была могущественному соседу как бельмо в глазу, и от нее избавились. А жаль, правда. Мне вообще много чего жаль из той жизни, и, чем дальше мы от нее уходим, тем больше я о ней жалею. При этом я абсолютно не согласен с теми, кто расхваливает совок – дурацкое слово, сам его не люблю, но еще меньше понимаю мечтающих туда вернуться; однако сегодня у меня сентиментальное настроение и я хочу сделать то, что запрещал себе все эти дни, – вспомнить Катю.

Петя, когда отправлял меня в Киев, надеялся, что у нас с ней может что-то опять сложиться, ибо сейчас – провозглашал он – настало время, когда люди должны друг друга прощать и находить спасение в прошлом, бросать якорьки и попытаться остановить идущий вразнос корабль.

– Мы все ошиблись, сбились с дороги и пошли в несчастную сторону. Надо просто вернуться на несколько десятков лет назад, – говорил он вдохновенно, и у меня от его вдохновения начинал дергаться левый глаз; но, с другой стороны, это тоже была причина, по которой он не бросал все эти годы меня, а потом еще разыскал Юрку и взял его на работу. По той же причине я должен был согласно его плану встретиться с Катериной.

– Ты в этом уверен? – лишний вопрос и интонация безнадежности в моем голосе мне самому была жалка и смешна.

– Шура, – отвечал он.

– А ты не посмотрел в интернете, как она изменилась с тех пор?

– Ну, милый, ты тоже не стал краше, пусть даже тебя по интернету не показывают.

Если он хотел меня при этом поддеть, то напрасно: у меня уйма недостатков, но ни тщеславие, ни честолюбие к ним никогда не относились.

– А если она откажется?

– Она согласится, Слава.

Самолет мягко потряхивало. Кроме нас двоих и экипажа, в нем никого не было. Изнутри Embraer был обит дорогим деревом и походил на яхту, и, возможно, поэтому ощущение у меня было такое, будто мы не летим, а плывем.

– Ей же любопытно посмотреть на своего первого мужчину.

Я совсем не был в этом шура, то есть уверен (в том, что ей любопытно), а Петино замечание показалось мне в высшей степени бестактным, равно как и в общем упоминание Кати, но мои отношения с этим человеком складывались таким образом, что я от него зависел, а не он от меня. Иначе я ни за что не полетел бы с ним на Ямал, даже с учетом того обеда, который нам подали приветливая стюардесса, ибо в последние годы у меня развилась аэрофобия. Хотя, конечно, я не мог не признать, что по сравнению с обычным пассажирским самолетом, где ты сидишь зажатый между креслами и мучительно делишь с соседом подлокотник, а тошнотворную еду тебе приносят как скотине в стойло, маленький воздушный корабль с ресторанным меню и потрясающей винной картой, вылетевший безо всяких очередей из пустынного третьего Внукова, казался венцом человеческого успеха.

Петя с трудом встал и неуверенно прошелся по салону. Большой, неуклюжий, с одышкой и зашкаливающим уровнем сахара в крови – неужели врачи ничего не могут сделать? Или сам не хочет? Ведь нынче все помешаны на здоровье, а этот пьет, ест за троих сладкое, мучное, хотя ему наверняка все это запрещено. А у него еще сердце больное. И я вспомнил Светку, которая орала на нас посреди поля в Купавне. Наверное, хорошо, когда сын у тебя олигарх – выгодная получилась материнская инвестиция. А вот моей матушке не очень-то со мной повезло.

– ...Они в глубине души очень хотят этого разговора. Они ждут его и только делают вид, что мы больше не братья и навсегда разошлись, а на самом деле погляди, как они за нами наблюдают, как реагируют на все, что у нас происходит.

– Угу, – буркнул я. – Ты читаешь хотя бы иногда их сети?

– Да, они реагируют не так, как бы нам хотелось, – проговорил Павлик, помедлив. – Но если мы действительно старшие, то это мы виноваты в том, что произошло. Это мы недоглядели, не так себя повели, где-то ошиблись, и, значит, мы должны ошибку исправить.

Я снова вспомнил рыхлого плаксивого мальчонку, которого мы заставляли таскать воду на прокурорское поле. Кто бы сказал мне тогда, что через много лет он будет проводить со мной в персональном самолете политинформацию об отколовшейся Украине и толковать о нашей общей судьбе, вине и ответственности, мыкая и трясясь своими полутора сотнями килограммов так непреклонно, что мне оставалось лишь сидеть и молча слушать его, попивая в качестве дижестива односолодовый вискаръ Writers tears, и глядеть за окошко, где ровно светило солнце и тянулись, сколько было видно глазу, плотные облака.

– Я думаю, я чувствую, что они во многом сами жалеют о том, что произошло, и, если можно было бы отыграть назад, давно бы уже отыграли, но гордость меньшего народа мешает им это признать. Они ждут от нас извинения, раскаяния, хотя бы показного, и в этой ситуации мы должны поступить великодушно и сделать первый шаг навстречу.

– Вернуть им Крым?

Самолет задрожал. Лети мы обычным рейсом, раздалась бы команда: дамы и господа, наш самолет находится в зоне турбулентности, просим вас вернуться на свои места, привести спинки кресел в вертикальное положение, пристегнуть ремни безопасности, поднять откидные столики, открыть шторки иллюминаторов и все такое. А тут никто ничего не говорил, и я не понимал, что делать. Стаканы на столе запрыгали, виски полетело на пол, стюардесса непрофессионально побледнела, и я вслед за ней.

– Немедленно всем пристегнуть ремни! – рявкнули в кабине.

Видимо, дела были неважные, коль скоро пилоты бизнес-джета позволили себе такой тон в отношении своих клиентов. Если мы все-таки сейчас где-нибудь наведемся, то завтра все газеты выйдут с сообщением о том, что известный предприниматель, общественный деятель, филантроп и просветитель Петр Павлик погиб в авиакатастрофе, а обо мне не напишет никто.

Борт снижался, и его продолжало трепать, как байду на волнах на озере Воже, когда там задует северный ветер или тебя атакуют аборигены на казанках. Вот уж точно воздушное судно. Бутылку с писательскими слезами гоняло по полу, и я думал, как бы ее ухватить и еще раз приложиться. Может быть, последний раз в жизни. Из кабины выполз на карачках никакой пилот и что-то сказал Пете на ухо. Тот помотал головой. Я не слышал их разговора, но догадался, что речь шла о запасном аэродроме в Когалыме. Эх, командир, командир, если сам боишься принять единственное правильное решение и не хочешь потерять работу, спроси лучше меня. В конце концов, я тоже имею право голоса, и этот голос зовет меня в Когалым. А ты, Петя, вспомни про Леха Качиньского, генерала Лебеда и губернатора Фархутдинова. Достойные все люди, но зачем тебе оказаться в этом ряду? Подумай, сколько стоит твоя жизнь, и не забудь, что тебе некому передавать капиталы, если не считать избалованных тобой же жадных сводных братьев, которые спустят всё за год...

Самолет прорвался сквозь облака, под нами показалась река, лес, и даже с высоты было видно, как гнет ветер деревья. Борт швыряло из стороны в сторону, уже не как лодку на волнах, а как пьяницу в коридоре общежития Литинститута. Садись боком. Я вцепился в кресло, но Петя даже не дрогнул. «Вот нервы». Embraer коснулся полосы, подпрыгнул, перекосясь так, что едва не задел крылом землю, стюардесса закричала, страшно загремела посуда, открылся шкаф, из которого что-то посыпалось, писательские слезы потекли ручьем по полу, а корабль оторвался от земли, вдавив нас в кресла, и снова взмыл в бушующий воздушный океан. Сделал круг над аэропортом и сел, как на тренажере. Ровно, четко, уверенно.

К стюардессе вернулся румянец. Она выглядела так, будто ничего не произошло, только страх быть уволенной прятался в глубине ее потемневших глаз. Пилоты профессионально про-

тянули нам руки на прощание. Петя сухо их пожал, я видел, что он недоволен. Не экипажем – мной.

– Не надо переносить личные отношения на всю страну, – буркнул он, глядя куда-то в сторону.

Ночной концерт

Не знаю, как я тогда стерпел. Но даже если бы, не сдержав обиды, я что-то язвительное про его собственные компетенции в самой пленительной области жизни сказал, моя насмешка не достигла бы цели. Мы никогда не говорили с Павликом на эти темы, я не знаю, было ли его печальное свойство связано с пресловутой свинкой или с чем-то еще, но, часто думая о своем друге, я представлял себе византийских военачальников, которые добровольно отсекали все лишнее, что мешало им целиком отдаться войне. И это были не какие-то там евнухи, не извращенцы – это были воины, полководцы, герои, и они хорошо знали, что Марс и Венера не могут ужиться в одном человеке. Петя не был человеком Марса, но у него было особенное отношение к миру. Он был свободен от того, чем были поработаны остальные, и всегда хотел в жизни нового. Теперь этим новым для него стала соседняя территория, в которой он понимал еще меньше, чем я, но отчего-то решил, что сможет потушить братский огонь так же, как когда-то гасил подземное пламя на прокурорском поле в Купавне. Благородно, но бессмысленно. Или на него произвела такое сильное впечатление моя обличительная пьяная речь в «Тайване» в восемьдесят каком не помню уже году?

Я глядел на Павлика, и у меня на языке вертелся вопрос: почему ты не уезжаешь? Ты мог бы жить со своими капиталами в хорошей стране, где уважают законы и к людям не относятся как к скоту, а не в той, где тебя едва не убили рэкетеры, а потом они же, став госслужащими, заставили отдать половину активов. Ты мог бы купить дворец, остров, жить на яхте, в нью-йоркском пентхаусе с видом на Центральный парк, в лондонском особняке, в Венеции, на Таити... Но ты остался в России и сокрушаешься из-за того, что ни один народ в Европе не пострадал и не потерял в последние полвека столько, сколько славяне; ты твердишь про Родину, ее судьбу, ее путь, исторический жребий и славянские ручьи, которые все равно сольются в русском море, – что-то очень жалкое, детское; ты раздаешь направо и налево деньги, поддерживаешь никому не нужные фильмы, выставки, спектакли и книги, жертвуешь сотни тысяч проходимцам и темным личностям, что с утра до ночи толпятся в твоей прихожей, ожидают тебя звонками, письмами, прошениями, и стараешься всем помочь. Но зачем?

О, если бы я был на Петинем месте! Даже не так. Если бы мне достались крохи того, чем по праву владел Петр Тарасович, или он вдруг решил бы за что-то наградить и меня, я бы плюнул на всех славян с их идиотскими распрями, купил бы домик на берегу финского озера и жил бы там круглый год, наблюдая, как белые ночи сменяются короткими зимними рассветами, плавал бы на байдарке, ходил на лыжах, ловил рыбу, и больше ничего мне в жизни не было бы нужно. Я даже приглядел такой домик на одном хорошем озере возле поселка со смешным названием Сюсьма, и вечером, когда мы сидели в бутафорском ненецком чуме и закусывали водку строганиной, изложил Педре свою мечту, сказав, что мне не хватает каких-то двухсот тысяч евро и финского гражданства.

Петя удивился сначала, почему я хочу дом именно в Финляндии, а не в Карелии или, наоборот, в Канаде либо в Новой Зеландии, где есть все то же, но гораздо интереснее и ярче. Я объяснил ему, что те страны находятся слишком далеко и к тому же над океаном особенно сильные зоны турбулентности, а в Карелии нет того покоя и безопасности, которые необходимы моему ослабевшему организму.

– Хорошо, – сказал Петя, не отрываясь от планшета. – Только с Финляндией у меня не получится. Проще будет с чехами.

– Почему с чехами?

– Им нравится моя фамилия, – ответил он уклончиво.

– Но я хочу на север.

– Поработаешь в Оломоуце, через несколько лет тебе дадут европейские документы, и езжай куда захочешь.

– И что я буду за это должен?

– Ничего. Только сделай, как я прошу.

– Это условие?

– Это просьба, – и Павлик улыбнулся детской, купавинской улыбкой. – И скажи, пожалуйста, Катерине, чтобы она остерегалась бучи.

– Какой еще бучи?

– Ты скажи. Она поймет.

...Надо было брать больше пива. И сливовицы, кстати, тоже. Она, конечно, уступает нашей водке, но и за эту, Одиссей, спасибо. Я иду вниз и пою песни. Пою отвратительно, у меня ни слуха, ни голоса, но при этом петь я люблю. На всех известных мне языках. Вниз идти еще тяжелее, чем вверх, а пьяному поскользнуться на этих склонах ничего не стоит. Я, кажется, и падаю, потом старательно ползу, цепляясь за корни деревьев, снова падаю и снова ползу, и, когда выбираюсь на тропинку, грязи на мне, как на танке.

Хорошо, что в горах никого нет. Сезон начнется позднее, а пока тропинки пустые, редко-редко встретишь одинокого человека, поздороваешься, улыбнешься в ответ и топаешь дальше. Мне нравится одиночество в горах. На равнине оно утомительно, скучно, но горы тревожат мое сердце. В горах я, вероятно, чувствую то же, что чувствует отец Иржи в храме. Вертикаль.

На горной дороге показывается автомобиль. Он не едет – стоит, но, как мне спяну кажется, раскачиваясь на рессорах, точно и он слегка принял. Подхожу ближе. Машина полицейская, а качка в ней лишь усиливается. Мне, как лицу бесправному да нетрезвому, унести бы ноги подальше, но не идти же обратно вверх по кручам, с которых я еле слез, проскочу как-нибудь. Интересно, однако, как эта тачка сюда забралась и кто ее бросил? Или тут проходит спецоперация? Облава? Снимают кино?

В голове начинают крутиться разные сюжеты. Вспоминаю, как читал перед отъездом из России книжку про девушку, которая ушла гулять в горы и не вернулась. Ее нашли через месяц на берегу горного ручья, и она была абсолютно голой. Это случилось сто лет назад в австрийских Альпах, и до сих пор никто так и не раскрыл тайну ее смерти. Даже автор той книги. Вот и с этой машиной тоже может быть связана тайна. Но черт возьми! Лишь когда я оказываюсь совсем рядом с автомобилем, понимаю, как опрометчиво поступил.

Не голая, но полураздетая девушка на заднем сиденье встречается с моими глазами, вскрикивает, вслед за ней поднимается бритая голова бородатого парня в расстегнутом мундире, а я, проклиная себя за тупость, шагаю прочь. Блин, как неудобно получилось! Я бы мог быть и подогладивей. Однако сюжет приобретает все более отчетливые очертания. Полицейский заманил девчонку в лес. Или вынудил ее сюда поехать? А впрочем, судя по довольным разбойничьим раскосым глазам, девчонка не сильно возражала, а может, сама этого красавчика сюда завела...

Эх, где моя юность, где моя свежесть? Вопрос не в том, что они прошли, а в том, сколько таких девчонок я упустил! А они упустили меня. Но, кажется, именно тогда, размечтавшись и рассожалевшись о несбывшемся, я сбился с тропы. Станут ли меня искать, а может быть, в поповском доме вздохнут облегченно – ну ушел и ушел? Появился неизвестно откуда и зачем и так же исчез. Или найдут тело эти двое на полицейском авто, когда в очередной раз поедут подальше от чужих глаз?

Иду, не понимая, где нахожусь. Вроде бы горы и горы, смеркается, половина восьмого, восемь, а я все шагаю и не ведаю, в какую страну попал, в какую эпоху, сколько границ успел пересечь и к какому морю выйду. По дороге опять попадаются бетонные глыбы, заросшие кустарником и травой, и похоже, в каком-то из этих бункеров мне придется заночевать. Но тут над горами зажигаются звезды, потом поднимается луна – ее еще не видно, только ощущается,

что скоро она покажется из-за склона, и тогда вся местность преобразится. И вот лунный свет лавиной сходит на долины и перевалы, я плыву по освещенной дороге, смотрю на свою долгую размытую тень и без двадцати десять оказываюсь в Горни Липове, только с другого конца. Эх, даже заблудиться не сумел. Бреду через деревню, где ко мне уже привыкли. Еще не настолько, чтобы со мною здороваться не как с чужестранцем, но все же потихоньку я становлюсь частью этого пейзажа.

Никуда не тороплюсь, долго стою на мостике, который переброшен через ручей. Дом отца Иржи с другой стороны. Все уже давно спят, и только наверху в пустынной колокольне горит свет. Отец Иржи, судя по всему, там. Дверь открыта, мне хочется подняться по таинственной лестнице, но делать этого нельзя, и я просто стою и жду, прикладываясь к пузатой бутылочке, пока она не кончается. Тридцать пять минут, сорок две, сорок девять... Внутренние часы работают бесперебойно независимо от состояния души и градуса тела. Роскошная сладострастная луна висит над головой и, не стесняясь, показывает всю себя. Перекликаются ночные птицы, хищно кружатся в лунном свете бабочки и мотыльки, за ними охотятся, выбрасываясь из ручья, форельки, и всеми этими действиями дирижирует кто-то незримый, как если бы природа давала концерт своему единственному пьяному зрителю. Наконец священник спускается, запирает дверь, и лицо у него такое задумчивое, прекрасное, одухотворенное, точно он и был тем дирижером, и мне хочется в ответ рассказать ему про свою возлюбленную. Именно сейчас. Я чувствую, знаю, что время пришло.

Выступаю из темноты, громко икая. Иржи вздрагивает и смотрит на меня рассеянно, без осуждения, но и без одобрения. Похоже, ему не нравится, что я немножко выпил, но трезвый я бы не посмел своей истории коснуться.

Не знаю точно, с чего начать, потому что познакомился я с Катей дважды. Или, вернее, так: увидел ее через несколько лет после того, как мы с ней впервые проговорили полночи на берегу моря. Поэтому первый раз был вторым, а второй – первым. И с этого второго первого раза я и начинаю. Получается не совсем вразумительно, да плюс непрекращающаяся икота нарушает плавность и красоту моего повествования, и у меня складывается впечатление, что иерей слушает меня не просто невнимательно, а даже не пытается вникнуть в суть. Мысленно он все еще там, на колокольне, со своей дирижерской палочкой, хотя мы уже зашли в дом. Я начинаю сердиться и прошу его дать мне водки и выпить вместе со мной. Не хочу, чтобы он слушал на трезвую голову.

– Это не исповедь, не дурацкие грешки, в которых каются ваши старушки, – кричу я ему в лицо. – Это – роман, самый сокровенный мой роман, и с вашей стороны невежливо мне отказывать.

Однако моя просьба еще больше огорчает его, и он мягко, конфузливо, но очень настойчиво предлагает мне больше сегодня не пить, а пойти отдохнуть и поговорить завтра. Но я не собираюсь ложиться, я хочу, чтобы настала ночь воспоминаний, я знаю, это должно произойти именно сегодня, машу руками и, кажется, задеваю что-то в комнате. Оно падает, разбивается, на шум выбегает матушка Анна в плюшевом розовом халате с мишками, и у меня нет слов, чтобы передать выражение ее лица при взгляде на осколки стекла на полу, лужу и мой походный костюм. Однако Иржи запрещает ей говорить хоть слово. По таким мелочам и становится понятно, кто в доме хозяин.

– Зитра, вшехно буде зитра, – говорит он, подталкивая меня к двери.

Но меня уже не остановить, я не хочу никакого зитра, я хочу сейчас и кричу на плюшевую матушку, обвиняю ее в лицемерии, фарисействе и прочих смертных грехах, а батюшку в том, что он только изображает участие, а на самом деле равнодушен к людям, как печная кладка бездействующего камина в доме, который, икаю я яростно, вам не принадлежит!

Матушка даже не бледнеет, но белеет от гнева, а поп кивает в такт моим возмутительным речам и ведет меня на второй этаж в мою комнатку. Подсохшая грязь комьями падает

на лестницу. Бросаю в угол одежду и быстро засыпаю, но в третьем часу ночи просыпаюсь оттого, что наверху кто-то топает. Икота не прошла, голова раскалывается, страшно хочется пить, но я понимаю, что если спущусь на первый этаж, то разбужу хозяев. Вчерашняя наглость сменяется приступом раскаяния таким сильным, что я готов уйти не попрощавшись. Я боюсь даже вспоминать, что именно вчера наговорил и какими глазами буду утром смотреть на отца Иржи, а про матушку не смею и думать. Мне не спится, я продираюсь сквозь лобовую боль и размышляю про немецкого судью, который продолжает мерить шагами чердак над моей головой. Каково ему знать, что в его родовом гнезде, захваченном чехами, буянит пьяный русский?

В окошко виден ярко освещенный луной склон горы и тени высоких деревьев. Тоскливо кричит ночная птица. Земля несется сквозь вселенский холод и слегка дрожит от космической турбулентности. Мне сорок девять лет, я живу в чужом углу, а своего у меня нету и, скорее всего, уже не будет. Мне становится ужасно грустно, так грустно, так жалко себя, что хочется плакать, хочется, чтобы меня кто-нибудь пожалел: учительница мама с ее верными учениками, покойница бабушка, отец или, может быть, Катя...

Памяти «Памяти»

Она стояла на винтовой лестнице, которая вела с сачка на второй этаж к конференц-залу в первом гуме. По этой лестнице ходили не часто, потому что зал обыкновенно пустовал, но в тот день он был открыт и народу собралось много по случаю вручения дипломов. Мы занимались тем, что невнимательно слушали недавно назначенного молодого декана, слонялись по просторному коридору, фотографировались, прикладывались по очереди к бутылке теплого шипучего вина и изображали радость, хотя никакой особенной радости не было. Ну закончили и закончили. Распределение год назад отменили, и если раньше каждый боялся, что его засунут в школу, то теперь куда идти работать и как жить дальше никто не знал.

Когда я поступал, нас отбирали для важной государственной деятельности: преподавать советскую литературу иностранцам, готовили к сложным заграничным командировкам, к идеологической борьбе и пропаганде социалистического образа жизни.

– Преподаватель советской литературы как зарубежной, входя в аудиторию, занимает огневой рубеж идеологической борьбы с врагами и полудрузьями, – была первая фраза, которую я услышал на своей кафедре, однако потом на наших глазах все начало рушиться, и за несколько лет врагам и полудрузьям сдали всё, что было можно и что нельзя.

Сейчас многие у нас это время ругают, а я рад, отец Иржи, что оно совпало с моей молодостью. Помню, как все менялось на глазах: перестройка, гласность, Абуладзе, дети Арбата, белые одежды, факультет ненужных вещей, пусть Горбачев предьявит доказательства в «Московских новостях», и публичная лекция академика Афанасьева про Сталина на улице 25 Октября, куда было невозможно попасть, и народ стоял на улице и сквозь открытые окна ловил обрывки фраз. Это было время невероятной жажды правды, под видом которой нас так опоили новой ложью, что до сих пор не можем прийти в себя. Но ведь та жажда, честный отчет, не на пустом месте возникла! Вам она ничего не скажет, у вас была своя нежная революция, и все закончилось миром, вы вон даже со словаками разошлись так, что никто не пострадал, а мы умылись кровью и продолжаем ее лить. Погодите, я скоро дойду и до своей коханы Катерины, но мой роман требует болтовни.

Так вот, я был счастлив, что все старое рушится. И каждый месяц, неделя, день, каждый новый номер «Октября», «Знамени» или «Нового мира» приносили что-то новое. Большая была стена, мощная, хоть и трухлявая, и мы отколупывали от нее по кирпичику, не соображая, что будет, если вся эта конструкция обрушится на наши головы. Нынче говорят, что надо было не так, ставят в пример Китай, и дядька мой то же самое твердил, когда мы с ним сидели в Купавне и он стучал огромными кулаками по столу на террасе, клялся Ниной Андреевой и товарищем Лигачевым и клял Яковлева с Шеварднадзе.

– Убить их мало было! Куда КГБ смотрело? С кем боролось? Почему проглядело?

Но я все равно любил и люблю конец восьмидесятых. Мне жутко нравилось видеть, как день за днем мы отыгрываем, вырываем кусочек свободы и то, что вчера казалось невозможным, сегодня становится фактом. Сначала ругали только Сталина, но однажды я с изумлением прочитал в «Вечерней Москве», как писатель Астафьев назвал Брежнева чушкой, и вот тогда-то я и понял, что это конец. При дорогом Леониде Ильиче я родился, вырос, ходил в детский садик и в школу, я помню, как печально и жалостливо смотрела на нас учительница обществоведения Нина Ефимовна, когда он умер. И хотя мы высмеивали дефекты его речи и рассказывали про него анекдоты, все равно прочитать в советской газете «чушка Брежнев» – это было нечто запредельное. Не просто повторение оттепели, а самая настоящая весна: с грохотом разбивающиеся сосульки, потоп, ледостав, грязь, наводнение, – и этого уже было не остановить.

Да, батюшка, журналисты, режиссеры, писатели были в ту пору нашими героями и шли впереди всех. Я ходил на встречи с ними в какие-то дома культуры, окраинные клубы и даже на

стадионы, – и все говорили страстно, дерзко, умно. Я слушал, как в студенческом театре МГУ старенького поэта Наума Коржавина, приехавшего по случаю из Америки, умоляли прочесть стихи про декабристов, которые разбудили Герцена, а маленький смешной Наум в очках с крупными линзами отнекивался, потому что боялся подставить тех, кто его сюда пригласил.

На том вечере, кстати, произошла одна история, которая поначалу показалась мне смешной и нелепой, а потом, наоборот, серьезной. В зале, где нынче православный храм, а тогда стояли рядами кресла и на месте алтаря была сцена, народу набилось невероятно много. Люди сидели на подоконниках, толпились в дверях, тянули головы, хлопали – и вдруг интеллигентная тетенька с красиво уложенными волосами и припудренной родинкой на массивном подборке вскочила с места и иступленно закричала, вытянув палец:

– Уходи, немедленно уходи! Память, память...

Весь огромный зал вздрогнул, обернулся, и я не сразу понял, что этот перст указывает на меня.

– Провокатор, черносотенец, антисемит!

Я не мог ничего понять, а только чувствовал, как все вокруг застыли в напряженном ожидании.

– Пусть он немедленно уходит!

Челюсти при этом работали у нее так жутко, будто она хотела меня сожрать. Подслеповатый Коржавин на сцене замолчал и обиженно выпятил нижнюю губу, а до меня не сразу дошло, что тетку сбила с толку борода, которую я отрастил сразу после военных лагерей, – я оказался ей членом националистического общества «Память». Однако ж до какой степени были наэлектризованы, взвинчены люди, если несчастная клочкообразная пегая бороденка, отращенная для пущей солидности молоденьким студентом, заставила мощную даму публично нападать на незнакомого парня и вынудить его с позором уйти. А между тем мы были с ней единомышленниками, и я, как и она, как и миллионы советских интеллигентов, балдел от происходящего, стоял по утрам в очередях за газетами, а ночами смотрел бесконечные трансляции со съездов народных депутатов, с упоением и абсолютной верой слушал двух следователей с дач купавинской прокуратуры Гдяна и Иванова – она ломалась все быстрее, эта старая махина, скрипела, крошилась, шла трещинами и сама не верила в свое исчезновение. И мы не верили тоже.

Но скажите на милость, как она могла выстоять, когда в восемьдесят седьмом году мой ровесник, девятнадцатилетний немецкий пацан аккурат в День пограничника пролетел полстраны на маленьком самолете и сел на Красной площади возле собора Василия Блаженного? Потом все спорили, что это было: тщательно спланированная акция Запада или обыкновенное российское головоуятие, потом про перестройку кинулись говорить – что то была национальная трагедия, предательство, пятая колонна, либералы, масоны, космополиты, агенты влияния. Но какие на хрен либералы, какие, отец Иржи, масоны, если первыми по улице Горького прошли те самые памятники, в принадлежности к которым меня обвиняла милая женщина из студенческого театра МГУ, а потом они же два часа терзали в Моссовете бедолагу Ельцина?

Говорят, нечто похожее случилось и в семнадцатом году. Тоже повылезала разнообразная шпана, и тоже все ликовали: долой царя, да здравствует свобода, демократия – а потом драпали за границу или забивались в подполье. Но если бы тогда мне сказали, что вот я иду и ору, счастливый, свободный, во всю свою юную глотку: «Долой КПСС!» – а потом за это буду нищенствовать, потеряю семью, родину, смысл жизни, я бы все равно орал: «Долой!» А коммунистов за то, что они дважды погубили мою страну, – и когда пришли и когда уходили, – не люблю еще больше.

Горячо – холодно

Но я отвлекся, простите, я буду часто отвлекаться, болтать и сам себе противоречить.

Так вот, пятый курс проходил в угаре, но не учебы – в угаре устройства жизни. Иногородние женились на москвичках, а самые продвинутые на иностранках, девицы торопились выскочить замуж, кто-то мечтал прорваться в аспирантуру, а кто-то остаться на кафедре. Меня не ждало ни то ни другое, учился я посредственно, но все равно мне было грустно уходить из университета, который я любил и всегда гордился тем, что я московский студент. Я верил, что в Москве есть только один университет, и позднее мне сделалось ужасно смешно, когда какой-нибудь институтишко вдруг начинал величать себя университетом. Мне был двадцать один год, я ждал от этих цифр чего-то необыкновенного, и в голове у меня роились романтические мечты завербоваться на Север, на Соловки или на Дальний Восток, на Курильские либо Командорские острова, узнать жизнь, поработать в районной газете, поехать по стране, и, наверное, жаль, что я этим мечтам не последовал. Однако подвернулась работа в головном издательстве, дурацкая, младшим редактором, и дядюшка Александр уверил мою маму, что это шанс, который глупо упускать, – карьера, рост, перспектива.

Вы хотите узнать про моего отца? Он умер, когда я был ребенком. Меня воспитывала мама и ее братья. Матушка второй раз замуж не вышла, и я не знаю, больше ли во мне теперь благодарности или вины перед ней. Это обстоятельство, кстати, роднило нас с Петей, хотя мы о нем никогда не говорили.

Но вы опять меня перебиваете, а в ту минуту с новеньким синим дипломом в выдавшем виде дипломате я размышлял о том, как мы поедем к Тимоше на Фили, где у нашего общего друга Алеша Тимофеева была квартира в добротном кирпичном доме, принадлежавшем Западному порту, и там мы собирались отметить окончание универа. Только сначала надо было запастись спиртным, что в девяностом году было делом немыслимой сложности, ибо и водка, и вино продавались по талонам в очень немногих магазинах, так что надо было выстаивать огромные бесформенные очереди, в которых диктовали порядки шпана и алкаши.

Я уже размышлял, куда бы нам поехать: на Киевскую, Красногвардейскую или, может быть, Лодочную улицу – там был один укромный, мало кому известный магазинчик на берегу Химкинского водохранилища, куда можно было перебраться на речном трамвайчике от Речного вокзала, а дальше пройти пешком вдоль воды, – и именно в эту минуту я увидел ту девушку. Она была похожа на чью-то младшую сестру или, может быть, невесту, правда, для невесты слишком молода, пришла, должно быть, с кем-то из тех, кто получал сегодня диплом, но стояла одна, и было похоже, что она потерялась, как теряются маленькие дети. Эта ее беззащитность напомнила мне одно мое старое обязательство.

– Ты кого-то ищешь?

Она кивнула.

– Кого?

– Вас.

Повторяю, она мне правда кого-то или что-то напоминала, но я ее, конечно, не узнал, потому что она очень изменилась, как меняются, взрослея, девочки. Я только видел, что она страшно волнуется. Это волнение ощущалось во всем. Она волновалась, как волновалось Бисеровское озеро после семи часов утра, как волновалось купавинское поле, когда дул западный ветер, то есть я хочу сказать, целиком, полностью, каждой травиночкой, былиночкой, колоском. Простите, отец Иржи, я пробовал в университете писать стихи, очень плохие, и это, может быть, не слишком удачный образ, но именно так она волновалась или, точнее, так я про ее волнение подумал. И это волнение странным образом притянуло меня к ней. Так волнуются,

еще может быть, перед экзаменами. И мне сделалось смешно, потому что все свои экзамены в жизни я сдал и больше никогда не буду учить вопросы и вытягивать билеты.

А она вздохнула, опустила голову, и я почувствовал, догадался, что если сейчас уйду, то эти прекрасные глаза наполнятся слезами, простите. Но я и не хотел уже никуда уходить.

– Может, вам подсказать? – спросила она упавшим голосом.

– Что?

– Ну там, горячо – холодно.

Я пожал плечами и сказал первое, что пришло на ум:

– Костер.

– Холодно.

– Картошка.

– Еще холоднее.

– Стройотряд?

– Нет.

– Общага.

– Холодно.

– Поход?

– Холодно.

– Осень.

– Холодно, холодно, – говорила она с каким-то невообразимым отчаянием, и правда, холодом пахнуло посреди жаркого душного летнего дня. А потом незнакомка так порывисто взмахнула рукой, что я схватил ее за тонкое запястье, чтобы она не улетела, и эта порывистость опять же мне что-то напомнила. Но я все равно ее не узнавал.

– Метро.

– Холодно.

– Сессия.

– Холодно.

– Сплав. Байда. Рыбалка. Сачок. Колок. Портвейн. Буфет. Красновидово. Азау. Третье ущелье. Сандал. Античка. Старослав. Истграм. Инстаграм. Поцелуй. Тысяча поцелуев, моя Лесбия.

– Холодно, – и тут она так глянула, что меня как будто дернуло током.

Я огляделся по сторонам – мы начали привлекать внимание.

– Ладно, давай по-другому. Ты меня давно знаешь?

– Да.

– А я тебя?

– Тоже.

– Я тебя раньше видел?

– Не видели, – согласилась она. – Потому что было темно.

– А ты меня?

– Много раз.

Она была так красива, так притягательна, и столько девичьей, женской прелести в ней было, что я оторопел. Платье на ней было светлое, легкое, оно просвечивало, но не вульгарно, а чуть-чуть, так, что можно было только догадываться о юном, гибком теле под ним. Я опять подумал, что эта девочка ошиблась, перепутала меня с кем-то, и мне стало ужасно обидно.

Нас обгоняли знакомые и незнакомые люди, на меня поглядывали с интересом мои нарядные, накрашенные сокурсницы, – надо было отойти, подняться или спуститься, чтобы уступить им дорогу; подскочил озабоченный, толстогубый Тимошка, похожий на зеркального карпа из прудов бисеровского рыбхоза, и, намеренно не глядя на девушку, показал мне на часы, но время я знал и без него и все равно не мог сдвинуться с места: пропал, растворился в этих

черных смеющихся глазах, еще не знавших наслаждения своей силой, смущенных, довольных, виноватых, – в ней не было ни тени усталости, разочарования, жеманности или кокетства.

– Это было в Москве?

– Нет.

– В поезде?

– Нет.

– В самолете?

Она опять покачала головой:

– Я никогда не летала на самолетах.

– Я тоже.

– А зачем тогда спрашиваете?

«Ну же, ну же, вспоминай», – умоляли, плакали и смеялись глаза с дрожащими ресницами.

– А ты точно меня ни с кем не путаешь?

– Нет.

– Тогда скажи где.

– В Крыму.

В Крыму я был единственный раз в жизни, что значительно сужало поиск, но все равно вспомнить не мог.

– Пепито комэ лос пепинос, – неуверенно прошептали пунцовые нецелованные губы.

Я выкатил глаза – неужели это была?..

Комитет молодежных организаций

Простите, что я снова пью и плачу, иерей Иржи. Наверное, я действительно постарел, потому что сделался слезлив и сентиментален. Уже поздно, но не уходите, пожалуйста, а лучше позовите матушку Анну, может быть, она тоже послушает мой рассказ и станет ко мне чуть добрее. Ведь это правда, что я бесправный беженец и очень неаккуратный и, похоже, весьма бестактный, невоспитанный человек, но я никого не отравлял, не преследовал и не сделал никому ничего плохого. И скажите ей, что Крым у Украины мы не украли, – слышите ли вы эту чудную аллитерацию и сохранится ли она в переводе на чешский? – ибо как можно украсть у самих себя наше общее место, где я впервые с Катериной увиделся?

Только поклянитесь мне, хоть я и знаю, что клясться у вас, у попов, не принято, пообещайте мне тогда, что никогда вы не обратите против меня то, что я вам сейчас расскажу.

...Ровно за четыре года до этой встречи я сидел на десятом этаже стекляшки на кафедре античной литературы, пытаюсь пересдать латынь Зиновьевой, и, подглядывая в шпаргалку, канючил «Вивамус меа Лесби, атквамемус». Это был мой единственный хвост. Я не умел учить мертвые языки. Живые кое-как мог, но к мертвым не лежала моя душа, и никакой красоты и гармонии я в них не обретал. А у Зиновьевой не лежала душа ко мне. Она невзлюбила меня с того раза, когда на ее вопрос, как переводится *memento mori*, я ответил:

– Не забудь умереть.

И теперь ее раздражало все: духота в аудитории, пыль, ее вчерашний разговор с заведующей кафедрой, ленивые аспиранты, пожилой муж, курсовые работы, пересдачи и, наконец, мое неумение отличить аккумулятивус кум инфинитиво от аблативус абсолютус. А кроме того, Зина обожала Катутула и мечтала поехать на озеро Гарда, где у ее античного божества две тысячи лет тому назад была вилла, но в большом парткоме опять отказали, хотя приглашение от Болонского университета приходило каждый год.

– Слушай ты, дубовая роща, если ты будешь выдавливать из себя стихотворение о любви, как прыщ, у тебя ничего не получится с девочками.

Прыщей у меня сроду не было, а дубовой рощей она звала всю нашу идеологическую группу, куда набрали одних парней с рекомендациями из райкомов комсомола, сделав для нас отдельный щадящий конкурс. И кто мы были после этого, как не дубы?

– Выучишь и придешь через три дня.

И ушла, уверенная в себе, женственная, носительница латыни и древнегреческого, как жрица храма не знаю кого, Аполлона, Артемиды, Афины Паллады, презиравшая все, что произошло с человечеством после разрушения Рима варварами, один из которых сидел перед ней.

А я поплелся по коридору. Я знал, что у меня не получится выучить стихотворение про прекрасную Лесбию и ее поцелуи, не получится запомнить дурацкие латинские конструкции и падежи, вряд ли меня за это вышибут из универа, но я точно останусь без стёпы, а эта стёпа долгая, с летними месяцами.

В учебной части не было никого, кроме маленького, очень живого ясноглазого человечка по имени Тиша Башкиров. Он посмотрел на меня с чрезвычайно озабоченным видом.

– Ты из какой группы?

– Испанской.

– Звонили из КМО.

– Откуда?

– Хлебалин заболел корью.

– Прививки надо вовремя делать.

– Он работал с делегацией перуанских партизан. Завтра в семь они вылетают в Симферополь, а оттуда едут в «Кипарисный».

– Корь заразна, у детей инкубационный период, и их надо посадить на карантин, а у меня латынь через три дня. Поцелуемся, моя Лесбия, не забудь умереть...

– За детей не переживай. А латынь, если полетишь вместо него, я тебе обеспечу.

Ясноглазый Тиша ведал в профкоме дефицитом, и у него были рычаги воздействия даже на неподкупную Зину.

Партизанская делегация состояла из трех человек: двух братьев десяти и двенадцати лет и их руководителя – плотного, крупного парня, моего ровесника, с маленьким смуглым лицом и курчавыми волосами. Он спустился с Анд и через месяц собирался туда вернуться. В Советский Союз Хосе Фернандес поехал, чтобы посмотреть на страну развитого социализма и подлечить желтые от коки зубы. Второе ему удалось, а вот СССР партизану не понравился абсолютно.

– Это не общество потребления, это общество суперпотребления, – проворчал он, обдав меня зловонным дыханием, и стал рассказывать, как ходил в «Березку» покупать сувениры и как его там ободрали, потому что иностранец.

Как липку, хотел тупо состричь я, но у меня не хватало знаний, чтобы перевести для него нехитрую игру слов. К тому же я не был уверен, что правильно его понял, ибо внучка испанской эмигрантки из Сантандера Елена Эммануиловна Винсенс учила нас в университете благородному кастильскому наречию с выговариванием всех положенных звуков, дифтонгов и согласованием времен, а у Фернандеса в его гнилом рту была каша и грамматика в принципе отсутствовала. С мальчишками было чуть полегче: корь к ним, по счастью, не пристала, сами они оказались очень сообразительными, быстро освоились в отряде, объяснялись с вожатыми и другими детьми жестами, потом скоренько освоили языковой минимум, вплоть до площадных слов, и я им, в сущности, был не нужен.

Несколько дней я вообще не понимал, что от меня требуется и зачем сюда привезли. Я был второй раз в жизни в пионерском лагере, но от первого осталось такое отвратительное воспоминание, что и теперь я с ужасом и состраданием смотрел на детей, которые ходили в одинаковой форме, жили по распорядку, играли в вышибалы, отправлялись после обеда спать, это называлось у них «абсолют», и пели хором «Вместе весело шагать по просторам». Однако оглядевшись, я понял, в какую лафу попал сам.

Переводчики в лагере жили вольготно, просыпались, завтракали, обедали и ужинали, когда хотели, днем писали пулю, а после отбоя собирались в беседке, пили крымское вино, слушали музыку, танцевали или шли на берег, разжигали костер, варили мидий и рапанов, купались в чем мать родила, а потом делились на парочки, причем всякий раз новые. Это было похоже на игру «Ручеёк», нравы были вольные и незамысловатые, никто никому ничего не обещал, но Зина мне как ведьма наколдовала. Меня здесь не принимали, как когда-то в нашу компанию мы не принимали Петю. Точнее, принимали, но с насмешкой. Я был всех моложе, а выглядел и вовсе ребенком, так что вожатые удивленно на меня смотрели, когда я попадался им после отбоя: из какого отряда и почему не в форме и не в постели?

Я страдал по всем пунктам. Милосердный столичный народ, старшекурсники и аспиранты из иныза и МГИМО, владеющие разными языками от хинди до иврита, надо мною стебались, как издевались мы опять же над бедняжкой Петей. А та, на которую я смотрел больше других (она работала с югославами и держалась крайне надменно), исчезала в ночи с кем угодно, только не со мной. Чем меланхоличней я на нее тарасился и пытался смешно ухаживать, тем откровенней, назло она меня отталкивала. А потом закрутила роман с моим героическим партизаном, причем, поскольку испанского Даша не ведала, Хосе Фернандес потребовал, чтобы я до определенного момента переводил, после чего по его знаку проваливал. Не знаю, как она терпела его бойцовские ароматы и чем он запудрил ей мозги, но я был в бешенстве и печали, бродил вдоль моря, швырял камешки, искал куриных богов, ловил скорпионов, тара-

щился на звезды, рифмовал море и горе и однажды услышал, как на лавочке кто-то плачет. Тихо, безутешно, всхлипывая и глотая слезы.

Сначала я даже не понял, кто это – мальчик или девочка. Коротко стриженные волосы, белая рубашка, выделявшаяся на черном фоне, – ребенок, подросток, чадо. Только довольно полное. Я подошел ближе.

– Ты что здесь делаешь? Почему не спишь? – я попытался придать строгости своему голосу, и тогда – матушка Анна, спасибо, что вы пришли! – пухлое дитя заплакало еще сильнее, как если бы мое присутствие освободило его от необходимости таиться.

Пепито ест огурцы

Это была девочка лет двенадцати или тринадцати, пионерка даже не старшего, а среднего отряда. Признаться, я испугался и хотел поскорей уйти – а если нас вдруг увидят, то что подумают? – но она вцепилась в меня и не отпускала.

– Они не хотят со мной дружить, – прорыдала девочка.

– Кто?

– Дети.

– Почему?

– Говорят, что я заразная.

– Чем ты заразная? Что за глупости, тут всех проверяют, – возразил я, а сам подумал, что над ней смеются из-за бочкообразной фигуры и тебе надо просто поменьше, дитяtko, кушать.

И она как будто это поняла и посмотрела на меня с укором – во всяком случае так мне почудилось в той зыбкой крымской тьме.

– Они говорят, что я радиоактивная.

– Какая? – я вытаращил глаза, среагировав сначала на слово «активная», ибо с детства терпеть не мог пионерских активистов.

– Я из Припяти, – всхлипнула толстуха.

Я вздрогнул. Это было лето восемьдесят шестого года. О чернобыльской катастрофе говорили постоянно, боялись страшно, проверяли щитовидку, мазали себя йодом и пили красное вино, но впервые я увидел человека оттуда. Она была беженка, отец Иржи, как и я теперь, и что-то заискрилось между нами, что-то похожее на человеческую солидарность. И мой голос, и мое перехваченное сочувствием горло, и мурашки на коже – все это побежало от меня к ней как электрический ток. А девочку прорвало, она стала рассказывать, как они хорошо, как весело в этой Припяти жили, а потом все разом кончилось, и воскресным утром – замечу при этом, матушка Анна, что авария случилась в ночь на субботу и весь жаркий субботний день дети ходили в школу и играли на улице, – и только в воскресенье всех жителей собрали во дворе, велели взять с собой документы и запас продуктов на три дня и садиться в автобусы. Они уезжали, уверенные, что вернуться домой очень скоро.

Тут девочка опять разрыдалась и плакала очень долго. Внизу плескалось море, далеко на берегу развели костер мои старшие друзья и варили мидий, а я должен был утирать слезы несчастной девчонке, у которой в квартире навсегда остался кот Снежок, и этот кот якобы уже за три дня до аварии вел себя очень необычайно и бросался на стены, а до этого был такой ласковый и послушный...

– Нас привезли в Фастов, и там мальчишки оралы, чтоб мы убирались вон и швыряли камни в автобус. Милиция смотрела и не вмешивалась. А потом нас всех отправили в больницу на осмотр. Сначала мы долго ждали, а когда я зашла в кабинет, то врачиха в маске старалась от меня подальше держаться, будто я крыса какая-то. И вообще они там все злые были. А одежду нашу всю забрали, выдали ужасные пижамы и волосы состригли. А у меня волосы были густые, длинные.

Я достал сигарету и закурил.

– А мне можно? – попросила она.

– Маленькая еще.

– Я уже пробовала.

Я обнял ее, и она затихла, согрелась под моей рукой. Так мы сидели не знаю сколько времени. Ночь была хорошая, пряная, южная; в третьем часу костер погас и над морем встала ущербная луна.

«А вдруг она действительно заразная?» – мелькнула в голове подлая мысль, но я еще крепче прижал ее к себе.

– А какой у нас был город, какая школа... Я до сих пор поверить не могу, что туда не вернусь. А они стали говорить, что все правильно, вот мы так хорошо жили, все у нас было, а теперь пусть мы проживем плохо, потому что это справедливо.

Она подняла на меня глаза, они были огромные, влажные, взрослые и блестели в темноте, и в них отражалось море со звездами:

– А вы тоже так считаете?

– Нет. И ничего не бойся. Я с этими козлами поговорю.

– Нет, не надо. Не выдавайте меня, не надо, пожалуйста, ни с кем ни о чем говорить. Обещаете? Лучше научите меня испанскому.

Я растерялся.

– Как же я тебя научу за пять минут?

– Ну какое-нибудь предложение.

И тогда я сказал фразу, которой нас научила прекрасная Елена, когда мы отработывали на фонетике звук [p]:

– *Perito come los perinos.*

Девочка несколько раз повторила ее.

– Ну всё, я пойду, вы только не выдавайте меня, пожалуйста.

Она порывисто, очень порывисто для своей тучности вскочила и исчезла в ночи, а мне сделалось ужасно грустно, и собственная печаль показалась такой мелкой, незначительной... Я пытался в оставшиеся несколько дней найти эту девочку среди сверстниц, но все они были такие похожие в этих синих шортах и белых блузках, и крупных, рано созревших среди них тоже было немало, – в ответ на мои взгляды отроковицы либо смущались, либо начинали глупо хихикать, а спрашивать у вожатых, кто там из Припяти, я не стал: в конце концов, я дал ей слово. Но не забывал про нее, и когда смотрел по телевизору или читал в газетах про Чернобыль, то вспоминал девочку, ни чьего имени не знал, ни лица толком не разглядел – только помнил голос, недетские глаза и тихий сдавленный плач.

И вот теперь она стояла передо мной. Или не так. Передо мной стояла, матушка Анна, необыкновенно красивая, стройная девушка с длинными, густыми каштановыми волосами и очень живым, полным прелести открытым лицом. Она была ужасно похожа и не похожа на рыдающую в Артеке толстушку, и я еще не знал, как окажется переплетена с ней моя жизнь, но знал, что ничего более прекрасного и значительного в этой жизни уже не будет.

Одиннадцать одиннадцать

Конечно, это я сейчас для красоты так говорю, ни о чем таком я в ту пору не думал. Просто жил себе и жил. Но ни на какие Фили я, разумеется, не поехал, и мы пошли с этой чудной девочкой мимо главного здания гулять по Воробьевым горам, спустились к реке, и я важничал, как если бы университетские уголья принадлежали лично мне, как маркизу Карабасу. Я правда очень любил эту местность, старался произвести на девушку впечатление и чувствовал, что мне удастся. Не помню уже точно, что я ей тогда рассказывал, но у всякого человека в запасе много историй, которые можно рассказать, а особенно когда тебя слушают так внимательно, упоенно, как слушала меня она и не слушал прежде никто другой.

Да, представьте себе, дорогие мои, хотя вам и трудно в это поверить, но мне почти никогда не давали в нашей компании голоса. Считали человеком неразговорчивым, неинтересным, да, наверное, я таким и был, но иногда мне очень хотелось поговорить, рассказать, найти того, кто станет тебя слушать и простит, если ты говоришь несладко, коряво, путано, повторяясь, но зато искренне, от сердца. А Катя не верила, что все происходит наяву и она гуляет по Москве с большим мальчиком, о котором мечтала все эти годы.

Это могло показаться и до сих пор кажется мне странным, но впоследствии Катерина рассказывала, что я даже не представлял себе, как много значил для нее тот разговор на берегу моря, как он поддерживал ее, когда они поселились в Белой Церкви, где на приезжих смотрели косо, ибо квартиры, которые им дали, предназначались людям, давно ожидавшим своей очереди на жилье. И эта враждебность, злость, жестокость, оскорбления, каких, может, в действительности было не так уж и много, – все умножалось в ее голове. Новая школа, одиночество, отчаяние, да и люди были там по характеру совсем другие, чем в Припяти, – а потом еще умер от лейкоза, а на самом деле от горя и несправедливых обвинений ее отец, – все это она пережила лишь потому, что запаслась крымским воспоминанием и оно ее поддерживало, спасало, превращаясь в яростную мечту о нашей встрече.

– Когда мне бывало очень одиноко, я все время повторяла то по-русски, то по-испански: Пепито ест огурцы, Пепито ест огурцы. И представляла тебя.

Признаюсь, я засомневался и подумал, что если живешь такой воображаемой влюбленностью, то можешь очень сильно разочароваться, увидев предмет своего обожания наяву. Но, должно быть, у девочек это происходит иначе или же Катя моя была исключением. А может быть, я был в ту пору не так уж и плох, не знаю, но впервые в жизни я шел с девушкой, не испытывая неловкости, не думая о том, что я непривлекателен внешне, и одет бедновато, и неостроумен, и не обаятелен. Я про все про это забыл.

Мы протопали черт знает сколько километров по набережной Москвы-реки до Парка культуры и дальше через мое любимое пустынное Остожье с его выселенными домами и заброшенными неряшливыми особнячками, мимо бассейна «Москва» – его тогда еще не закрыли – к Кремлю и Красной площади и дальше через Зарядье в сторону Ивановской горки. Стало совсем темно, но мне не хотелось с Катей расставаться и нравилось, что она по-прежнему смотрит на меня с восхищением и я не кажусь ей смешным, глупым, инфантильным, в чем щедро обвиняла меня аспирантка Валя Макарова, с которой мы иногда встречались у нее дома, когда Валины родители куда-нибудь сваливали.

– А если ты настоящий мужик и хочешь чаще, сними квартиру, – внушала мне аспирантка.

Но хорошо ей было так говорить...

– У тебя болезнь века – недорослизм, – ставила она мне диагноз, перед тем как перейти к заключительной части нашего свидания, а я возражал, что мне не нравится это слово.

– Оно плохо состыковано. Корень русский, суффикс иностранный.

Валечка считала себя знатоком русского языка и оттого раздражалась и оскорбляла меня еще пуще, отчего я и дальше чувствовал себя не вполне уверенно. И как же хорошо мне было теперь, когда я болтал всякую чепуху и не думал о своей инфантильности.

Стрелка на моих внутренних часах приблизилась к половине первого, и пришло время прощаться с девочкой из Чернобыля, а прощаться ну совсем не хотелось, и тогда я сказал:

– А поехали, пока метро не закрылось, на Фили. Народ там до утра гудеть будет, – и представил себе, как мы приезжаем с ней на Новозаводскую, и как на нас посмотрят, и все станут мне завидовать, а наши спесивые девки утрутся, но она покачала головой.

– Да не бойся ты, они классные ребята, поедим там чего-нибудь, вина попьем. Ты же голодная, – вспомнил я, потому что и сам почувствовал голод.

– Нет, – и помню, как меня удивила твердость ее возражения.

– Тогда... – я закрутил головой по сторонам и выпалил: – А давай тогда – в Купавну!

Она не стала спрашивать, ни что это такое, ни где находится, ни сколько и на чем туда ехать и кто там живет. Она как будто только и ждала того волшебного слова.

Курский вокзал был совсем недалеко, Катя успела позвонить тетке, сказать, что домой не придет, и быстро-быстро повесить трубку, и мы побежали на последнюю захаровскую электричку, которая уходила ровно в час ночи. В вагоне, кроме нас, никого не было, мы молчали, потому что обоим вдруг стало понятно, что мы перешли черту, за которую уже нельзя вернуться, и, согласившись поехать с полужнакомым парнем к нему на дачу, она лишала себя возможности отступить, а я брал на себя ответственность за ее согласие. И когда мы вышли на пустую, еле освещенную платформу и зашагали по дороге моего детства мимо круглой станционной пивнухи вдоль однопутной железной дороги, мимо участков Минвуза, ЗИЛа, общества слепых, химиков и энергетиков, вдоль березовых холмов у дач имени 800-летия Москвы, когда шли краем прокурорского поля, не касаясь друг друга, по всему этому темному, моему родному, теплему, гулкому пространству, где я нашел бы дорогу с завязанными глазами, то ни о чем не говорили.

Я никогда не забуду, матушка Анна, ту ночь. Она была облачной, беззвездной и какой-то особенно густой, будто не конец светлого июня, но август стоял на земле и кто-то задвинул над нами полог, чтобы тьма длилась дольше положенного.

В дачном домике было тепло и тихо. Пахло сухим деревом, мотыльками и старыми газетами. Я включил свет на террасе, несколько бабочек и малярийный комар забились в стекла и внутри абажура. Мы были страшно голодны, но, к счастью, в шкафчике нашлись сухари, а в подполе консервы и прошлогоднее сладкое вино из черноплодки и малины, которое делал дядюшка. Я нарвал в ночи зелени, лука, первых огурцов и последней редиски, Катя пожарила на сковородке тушенку, а после легла со мной так просто, как если бы мы были мужем и женой. И все, что произошло между нами на кровати, где я засыпал ребенком, где просыпался и звал бабушку, когда мне становилось страшно, где я выросел и мне начали сниться стыдные сны, – все было невыразимо трогательно и, странным образом, бестелесно. Телесность, чувственность пришли позднее, а тогда мы просто понемногу узнавали друг друга.

Да, матушка, не знаю, как у вас, а у нас в те времена завоевать любовь девушки, добиться близости с ней было не так уж просто, здесь требовалось время, терпение, уважение, и каждая девушка сама для себя определяла, когда это может произойти. Тогда у девочек еще были – не знаю, как это правильнее сказать, – понятия о чести или предрассудки, но мало кто рискнул бы согласиться на такое на первом свидании, а тем более если это случается с тобой в первый раз. И то, что Катя с такой легкостью, ни в чем не сомневаясь, мне доверилась, показалось мне невероятным даром, чудом. А может быть, ничего странного здесь и не было – ведь она ждала этой ночи четыре года, и я уж точно не был для нее случайным человеком. Но только и у меня, отец Иржи, тоже было ощущение, что со мной все произошло впервые, а если что-то и бывало раньше, то лишь для того, чтобы я не тыкался, как слепой котенок.

Утром я проснулся поздно, когда солнце на стене моей комнаты показывало одиннадцать часов одиннадцать минут. В доме было тихо, и никого не было рядом со мной. Я испугался, что случившееся ночью было лишь сонным видением, вскочил и в одних трусах выбежал в сад. Стояло нежаркое позднее утро, посреди огорода, опершись на лопату, возвышался мой дядюшка, приехавший из Москвы на последней электричке перед дневным перерывом, и что-то оживленно Кате рассказывал. Давно я не видел его таким довольным. А она сидела на корточках в моей клетчатой дачной рубашке, быстрыми ловкими пальцами прореживала морковку и смеялась. Она была настоящая хохлушка. Надеюсь, это звучит не обидно?

Неразумные

Магушка что-то быстро спрашивает у мужа, тот так же быстро отвечает, и на этот раз я не понимаю ни слова. Но похоже, это связано с возможными сельскохозяйственными работами на их участке. Что-то вроде того, где бы им найти такую же расторопную трудолюбивую украинку, потому что от этого бездельника толку все равно никакого. В душе я с ней соглашаюсь, но, поднимаясь к себе наверх, думаю о том, что хотя бы чуть-чуть загладил вину и заработал себе, как Шахерезада, право находиться здесь еще одну ночь. Смотреть дальше я боюсь. Я всегда жил, ни на что не рассчитывая и не думая о будущем. По-английски это звучит очень коротко: *save tomorrow for tomorrow*. Во всяком случае именно так пели в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда», которую в школьные годы я слушал часами. По-русски выходит длиннее: не заботьтесь о дне завтрашнем, ибо завтрашний день сам о себе позаботится. Но, правда, и деньги, и карьера, и успех – всё это были для меня бранные слова, и, может быть, поэтому я оказался никому не нужен в родной стране в ее другие времена, как не нужен никому сегодня в чужой.

А впрочем, в моем нынешнем убогом и непрочном существовании всё не так уж и плохо, одно только меня огорчает: здесь нет книг на русском языке. То есть, может быть, где-то – в библиотеке или в местной школе – они и есть, но идти мне туда ни к чему, а в доме у священника ни одной. В гостиной, правда, стоит книжный шкаф. Половина его открыта, а вторая закрыта на ключ. Что там находится, не знаю, но в открытой части чешские книги, и я страшно скучаю по нашему круглому шрифту, по милой моей кириллице. Ей-богу, впору начать писать лишь для того, чтобы было что читать.

Чтение для меня с детства занятие физиологическое, я не могу даже спокойно есть, когда у меня перед глазами нет написанных слов. Говорят, это вредная привычка, а я без книги скучаю, томлюсь, злюсь. Как можно заснуть, не прочитав что-нибудь на ночь? Или, наоборот, не взять книгу, среди ночи проснувшись? И оттого теперь мне так неуютно, тоскливо, пусто. Наверное, надо было бы взяться за изучение чешского языка, но я чувствую, что это мне уже не по силам. Языки надо учить в юности.

Единственная кириллическая книга, которая мне в этом доме доступна, – Библия. Она, правда, на старославянском, по которому, как и по латыни, у меня был в универе твердый неуд, и только снисходительное отношение добрейшей Марины Максимовны к дубовой роще превратило его в неверный уд, но все же читать Евангелие я могу, и странное чувство вызывает у меня эта книга. Я прочитал ее впервые очень поздно, когда уже учился в университете. До этого только мечтал, как о какой-нибудь «Лолите», но даже ту найти было проще. Библия несла печать запрета, о ее содержании я мог лишь гадать, и кто такие Христос, Пилат, Иуда, Мария Магдалина и апостолы узнавал из той же рок-оперы. Но когда с сигаретой во рту я впервые прочитал Евангелие, оно меня поразило. Триллер, драма, психологический детектив. Теперь мне стыдно про эту сигарету вспоминать, и едва ли я признаюсь в ней отцу Иржи, однако, когда я перечитываю знакомые сюжеты, мне хочется не то чтобы с ними спорить, а тянет задавать вопросы.

Вот, например, притча о блудном сыне. Меня всегда задевала в той истории участь старшего сына. Мне его почему-то ужасно жалко. Хотя по своей судьбе и по грустным итогам моего полувека я куда больше похожу на его непутевого младшего брата, я все равно хорошо понимаю обиду первенца, которая и в самом Евангелии высказана очень отчетливо и даже нарочито, намеренно подчеркнута. Так что, строго говоря, это притча не о блудном сыне, но о сыновьях и братьях вообще.

Старший ведь и вправду очень и очень обижен на своего отца. И это справедливая обида. В самом деле, если много лет он усердно служил отцу и ни в чем не смел ослушаться, то почему

не заработал даже малейшей похвалы и награды? Или это, как и многое в Новом Завете, скрытая полемика с Ветхим, с книжниками и фарисеями, которые не такие, как этот мытарь? Но ведь, кстати, и с фарисеем всё не так однозначно, как кажется. Все привыкли порицать его за то, что он похвастается своими добродетелями, но пусть критики скажут, постыятся ли они столько же, сколько он, сохраняют ли целомудрие, наконец, приносят ли каждый месяц в храм десятую часть своей зарплаты? Я таковых не знаю. Да и в Евангелии разве фарисей осуждается? Там сказано лишь то, что он выйдет менее оправданным, нежели мытарь. Менее оправданным, но вовсе не осужденным, и то лишь потому, что поступки фарисея ожидаемы, а мытаря нет. Но это хорошо один раз прийти в храм и покаяться, а дальше что с мытарем будет? Опять станет грешить, обирать простой народ и бить кулаком себя в грудь, какой я сякой? Или сам превратится через год в фарисея?

Мне нравится размышлять на эти темы. Возможно, потому, что Евангелие так устроено: в нем грешник всегда лучше праведника, блудница – тех, кто ее побивает, самаритянка – иудеев, заблудшая овца – овец послушных; даже закотившаяся монетка стбит вопреки всем законам арифметики дороже девяноста девяти. По сути, это бунтарская, мятежная, революционная книга. За исключением одной истории – притчи о мудрых и неразумных девах. Я ее не понимаю. Вернее, даже не так – я ее не принимаю. В самом деле, так ли уж велик проступок пятерых девушек, у которых не оказалось масла, чтобы навсегда оставить их за дверью брачного пира? И разве их боголюбивые сестры не могли с ними поделиться? Ведь нас с детства учили: надо делиться с другими тем, что у тебя есть. Неужели бережливость мудрых не противоречит евангельской заповеди о любви к ближнему?

О да, конечно, на эту притчу наверняка есть толкование и под девами надо понимать то-то и то-то, а под маслом что-то еще, но я так устроен, что понимаю все буквально: девчонки, вам правда жалко было масла для своих подруг? Или вы не догадывались, чем они рискуют, уходя в ночь? Как вы могли их отпустить и неужели будете с чистым сердцем ликовать и праздновать на пиру с женихом, зная, что из-за вашей скупости – ну хорошо, пускай осмотрительности и мудрости – кто-то остался в беде? Да лучше бы вам всем этого масла не хватило! И я вам больше, девочки, скажу: если бы вы, мудрые, попали в беду, то те, глупые, вам бы помогли, не оттолкнули, потому что они грешнее, а значит, и добрее вас.

Зато история с благоразумным разбойником трогательная до слез и ужасно достоверная. Есть какие-то штрихи, детали, когда вдруг начинаешь понимать: такое невозможно выдумать и это было на самом деле. Разбойник ведь не просит у Спасителя взять его в Царствие Небесное, он даже не дерзает помыслить о таком, ибо руки у него в крови и он за дело распят на кресте. Он просит о самом малом. Ты вспомни меня, пожалуйста, когда придешь в Свое Царство. Только вспомни. И больше ничего. И за это смирение, за это малое получает большое. Но почему, если прощаются мытари, блудницы и разбойники, нет прощения пяти девушкам, вся вина которых состоит лишь в том, что у них не оказалось масла, что бы под ним ни подразумевалось?

Эти вещи меня волнуют, я верую в них, как умею, а еще мне нравится ход службы; я иногда прихожу к отцу Иржи по будним дням, когда в храме никого нет и только зеленая лягушка прискакивает из ручья, садится на пороге, но не решается его пересечь. Я стою позади и пытаюсь разобраться в том, что в храме происходит, повторяю знакомые слова, но если бы меня спросили, чего же я тогда мешкаю, почему тоже не переступаю порог и не примыкаю к верным, то я бы ответил так: мне еще рано и я жду более позднего часа. Да, конечно, тут есть риск не успеть, никто не знает, когда за тобой придут и похитят, но ведь у меня есть дар чувствовать время, и вместе с тем я думаю о работниках первого часа, которым выпало перенести полуденный зной. А что, если у кого-то из них не хватило сил и он упал на меже? Или не выдержал и ушел в тень? Усомнился, заболел да и сбежал с этого поля? Не лучше ли в таком случае заранее обождать и устроиться на работу позднее? В сущности, это та же расчетливость, что и у благоразумных дев. Или же я опять занимаюсь самокопанием и самооправданием?

Жаль, что я не могу поговорить на эту тему с отцом Иржи. То есть вопросы задать могу, но получу ли я на них ответы и не выйдет ли от этого еще более худое, чем Евангелие с сигаретой? Не решит ли матушка Анна, что теперь мне окончательно нет места в их благочестивом доме с моим метафизическим бредом?

Алеша хороший

Мама не хотела никуда дочку отпускать: какая Москва, зачем она тебе? В Москве опасно, страшно. Учись в Киеве. Но она окончила школу и поехала туда, где жил я. Хотя, скорей всего, я преувеличиваю свою роль и Катя поехала бы сюда учиться и без меня.

Как-то я спросил ее: а если бы у меня была девушка или я был женат, что бы ты тогда сделала.

– Отбила бы тебя.

– А если б не получилось?

– Ну это вряд ли, – усмехнулась она, и зрачки ее глаз враз стали узкими и колючими.

Катя собиралась поступать в Литературный институт на факультет поэзии, экзамены у нее начинались в августе, и мы жили в Купавне все лето; она готовилась, а я отгуливал последнее в жизни каникулы, перед тем как отправиться в редакторское рабство. Как она объяснила матери бегство от тетки, не знаю, но позже я понял, что в ее характере было столько непреклонного, упрямого и своевольного, что никто не мог ее остановить. Потому что если эта тоненькая девочка что-то для себя решила, то ни при каких обстоятельствах не стала бы уступать. Это было странное сочетание живости, гибкости, обаяния и внутренней жесткости, упертости, непреклонной воли. Но это все я начинал понимать позднее, тогда же просто показывал ей свою Купавну: все места моего детства, старый и новый карьер, речку Камышовку, лес, озеро и среди прочего большой валун на прокурорском поле. Я рассказал тогда Кате про своего смешного неуклюжего друга и коварных инопланетян, даже не ожидая, как эта история ее поразит.

– Спасти землю, – повторила она. – Я бы хотела сделать что-то подобное, но только не понарошку, а на самом деле.

Я посмотрел на нее удивленно.

– Если бы меня попросили отдать свою жизнь за какое-то важное дело, я бы сделала это не задумываясь. А ты?

– Не знаю, едва ли, – мне не хотелось врать, хоть я и боялся ее разочаровать.

Однако высокие мечты не мешали Кате быть очень практичной, ловкой, азартной и даже хищной. Я и сейчас закрываю глаза и вижу, как она заходит в высоких болотных сапогах и купальнике с удочкой в руках в Бисеровское озеро, и в эту минуту ничего, кроме поплавка, для нее не существует. Представьте себе, матушка Анна, она ловила рыбу впервые, но делала это так, будто занималась ужением всю жизнь. Я один только раз показал ей, как надо забрасывать, и вот она уже точным, ловким движением отправила снасть в окно между кувшинками и через несколько секунд подсекла и вытащила золотого карася. В ней не было ни малейшей беспомощности – ой, я рыбку поймала, помоги мне ее снять или насади червяка, я боюсь, мне противно, жалко, – нет, зато азарта до чёрта, и все у нее получалось, а если клевал окунь и заглатывал червяка, она опять же не просила моей помощи, доставала крючок сама. Да, это странно, но в ней было очень много взрослого. Только запястья и щиколотки были тонкие, как у ребенка, и когда я обхватывал их руками, то чувствовал такую нежность, такую жалость, простите... А может, она повзрослела из-за Чернобыля?

С утра Катя садилась готовиться к экзаменам, я помогал ей как мог, хоть и понимал, что ни в какой Литинститут она не поступит. Но не мог же я ей сказать, что туда огромный конкурс, а ее стихи банальны, скучны, в них нет ничего своего, – и я просто говорил, что в поэзии ничего не понимаю; но мне нравилось следить за выражением ее лица, когда она читала, слышать ее голос, смотреть, как она сжимает свои детские руки, и думать о том, что скоро наступит вечер и мы пойдем в комнату с тканым ковриком на стене, на котором волки преследовали в темном лесу сани, и я физически ощущал, как бояться и лошади, и люди, и неизвестно, удастся ли им спастись.

Днем она отрывалась от книжек и звала меня в сад. Я не любил дачную работу, она была мне скучна и утомительна, я больше тяготел к образу жизни нашей бывшей соседки, но вместе с Катей мне было весело делать всё. Никогда еще наш участок не был таким ухоженным, аккуратным, как в то лето, и, если бы новые времена не отменили Кукиных оценок, мы получили бы первое место. А потом наступал вечер, мы возвращались на велосипедах с озера, сидели на террасе, ели салат из своих овощей, свою рыбу, и мне казалось, что нам ничего и не нужно от внешнего мира – только б он нам не мешал.

К ужину мы иногда звали дядюшку, который за несколько лет до этого построил на другом конце участка домик с односкатной крышей (такие строить не запрещали). Алеша приходил с бутылкой водки, наливал по чуть-чуть мне и ей, а сам выпивал остальное, хмелел и становился необыкновенно разговорчив. Он вспоминал службу в Германии, куда попал после окончания военной академии, и я представлял молодого, высокого, красивого офицера-победителя – не оккупанта, не завоевателя, а охранителя германской земли, чтобы никогда больше она не смела угрожать моей Родине и всему миру. И Катя обожала его в ту пору слушать, а я страшно ревновал, потому что знал: никогда в жизни мне не суждено будет стать воином, победителем...

– Ты уже сделал предложение? – спросил однажды Алеша с командирской прямоотой.

Мы с Катей переглянулись.

– Ей еще нет восемнадцати, – буркнул я, смущенный его бесцеремонностью.

Дядюшка неодобрительно покачал головой, и его нравственный жест был понятен без слов: значит, спать вместе можно, а жениться нет. Сам он женился молниеносно, когда приехал на месяц из Германии в отпуск. Холостая жизнь в гарнизоне под Росткомом здорового мужика томила, и бабушка, больше всего боясь, что он женится на немке, подыскала ему невесту в Москве. Это была удивительной красоты женщина польских кровей; правда, Купавну она за бытовые неудобства терпеть не могла и если и приезжала туда, то только на такси за пятнадцать рублей и ночевать никогда не оставалась. Она вообще была женщиной настроения: невероятно обаятельная, когда ей все нравилось, и фурия, когда что-то раздражало. Так что, строго говоря, история дядюшкиной женитьбы вряд ли могла служить примером для подражания. Да и вообще, ну какой из меня муж и какая из маленькой Кати жена? Мы были как дети, и все у нас было понарошку, мы не жили, а играли, баловались, одно слово – недоросли, и единственное, что Катя с самого начала взяла на себя, – следить за безопасными днями, и мы ложились вместе не каждую ночь или же... Простите, эти подробности уже, наверное, были бы совсем лишние, я просто хочу сказать, что нам было очень хорошо вместе.

Язык и мова

Самое удивительное, что в институт Катя поступила. Правда, не на факультет поэзии, какового в Литературном институте и не оказалось, а были только поэтические семинары, но туда ее не допустили даже до экзаменов. Как она мне объяснила, не из-за стихов:

– Нужен рабочий стаж, без стажа они не берут.

Возможно, это было и правильно: о чем ты станешь писать, если жизни не знаешь, но она-то ведь знала. И если бы это зависело от меня, то по такому критерию я точно сделал бы для нее исключение. Однако Кате повезло в другом: в тот год в Литинституте набирали группу художественного перевода с украинского языка, и ей предложили поступать туда.

– Я не хочу, – она заплакала. – Я не люблю украинский язык. Ну ладно еще английский, французский. Или лучше всего испанский. Да и какая я украинка? Я – Катя Фуфаева. У меня папа русский, мама русская, они приехали на станцию работать и здесь поженились. В школе нас заставляли мову учить, но кому она нужна? Все же всё понимали и ставили кому четверку, кому пятерку в зависимости от того, как выучил Шевченку.

Кохайтэся, чорноброви,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі людэ,
Роблять лыхо з вамы, —

прочитала она нараспев.

– Это что? – я не понял почти ни слова.

– Это меня так в школе дразнили, – засмеялась Катя – меня всегда поражали ее переходы от печали к веселью и наоборот. – Поэма у Шевченки есть, «Катерина» называется, про дивчину, которую соблазнил и бросил русский офицер.

Она посмотрела на меня строго, и я тоже засмеялся.

– У меня дома никто не говорил на украинском. Ну бабушка в деревне. Так я ее и так понимаю. А почему я должна все это учить? Я хочу писать стихи на своем языке, я люблю русских поэтов, Цветаеву, Бродского люблю, и что, я буду переводить их на украинский? «Я рада, що не хвора через вас». Бред какой-то. Нет уж, лучше я заберу документы, поработаю где-нибудь и на следующий год попытаюсь еще раз.

Я слушал ее, смотрел, как она взмахивает руками и мило гримасничает, как вздрагивают ее ресницы, и думал: Цветаева – ладно, Цветаевой все девочки увлечены, но Бродский? Он сложный, не для восторженных девчонок. А значит, ее выбор был неслучайным. И я принялся возражать, говорить, что отказаться будет полной глупостью и она сама не понимает, как ей дико повезло, раз в этот год случился набор именно в украинскую группу и она со своим аттестатом и оценкой по мове сможет в ней учиться.

– Да какая там оценка? Она же липовая! Я тебе говорю, никто ничего не учил и всем просто так ставили.

Однако убедил ее мой последний аргумент: если она заберет документы, ей придется уехать домой.

Странное дело, я вот теперь думаю, матушка Анна, из каких мелочей складываются большие события. В этом смысле Петя был, конечно, прав в своем детском наблюдении, и из маленького атома наших отношений через много лет развилась катастрофа, масштаба которой мы еще не осознали. Ведь если бы она не пошла учиться и не выучила этот ласковый, трогательный язык так же профессионально, как выуживала золотых карасей из Бисеровского озера, то, быть может, и не было бы никакого Майдана, ибо, по моему убеждению, сделавшаяся в

самом центре Москвы, на Тверском бульваре, украинкой Катерина Фуфаева и стала той соломинкой, которая сломала хребет верблюду, или, если угодно, той бабочкой, чей взмах крыла вызвал цунами.

Вообще должен вам заметить, мои дорогие, что вся соль нашего с Украиной раздора заключается не в Путине, не в советском наследии, не в войне на Донбассе, не в газовой трубе, не в присоединении Крыма и не в голодоморе. Есть другая, более глубокая и, к несчастью, практически неустраняемая причина всех недоразумений, и связана она с тем, что украинский язык звучит ужасно потешно для русского уха, причем именно в тех ситуациях, когда сам этот язык становится страшно серьезен. У украинцев невероятно красивые песни, у них потрясающие есть две буквы: одна с двумя точечками, похожая на свечку, – ĭ, а другая – є, тонкая, словно серпик луны. Их язык хорош, когда они поют, рассказывают сказки, когда говорят о простых вещах; он непревзойден в застолье, в любви, нежности, в разговоре с детьми, с родителями, с соседями; но стоит им перейти на речи государственные, как вся их неприспособленность к самоорганизации обнажает себя. И они это чувствуют, потому что больше привыкли говорить на эти темы по-русски, им и самим переходить на украинский неловко, ведь русский язык здесь гораздо органичнее, точнее, полнее, гибче, глубже – и именно боязнь показаться смешными заставляет их совершать безумные поступки и желание уйти от нас как можно дальше.

Вот в чем вся штука, и им надо либо с этим примириться, либо идти на нас войной. Вырвать все русское с корнем, как драл мой дядька сорняки и меня заставлял. Им надо все время себя доказывать. А им это несвойственно, тяжело, и потому они злятся еще сильнее. Разумеется, это только моя имперская, великодержавная версия, и я отдаю себе отчет в том, как чудовищно она звучит для любого украинского патриота и меня навсегда внесут за нее в «Миротворец»; я догадываюсь, как сурово осудит меня за нее безупречно политически корректный философ Петр Павлик, а Катерина, если сегодня вдруг услышит, вцепится дикой кошкой и исцарапает мне лицо, несмотря на все наше расчудесное прошлое. Но что поделать, если я прав и они это знают?

Твербул

Худощавый, очень серьезный, умный парень с густыми жесткими усами, чем-то похожий на Максима Горького, но не такой длинный и мрачный, принял у Кати документы. «Критик, наверное, – подумал я с неприязнью. – Все вы тут гении от литературы. Зарежете бедную девочку. Она плакать будет, а мне ее опять утешать». Однако, представьте себе, Катя хорошо сдала экзамены, а потом удачно прошла собеседование, возможно, потому, что понравилась ректору, – он был человек светский, тонкий и ценил женскую красоту. А кроме того, Катюшка так упоенно рассказывала ему про Булгакова, про Андреевский спуск и «Белую гвардию», что он был покорен. Так моя Катерина сделалась студенткой Литературного института, и я со своим дипломом Московского университета вдруг ощутил какую-то ущербность. Нет, правда, этот чертов институтишко, занимавший пространства столько же, сколько даже не один наш факультет, а несколько кафедр, одно отделение, малюсенький, ничтожный, похожий на удельное княжество в сравнении с империей моего родного МГУ, какое-то Монако, Сан-Марино или Лихтенштейн, капризный вольный бутик посреди державной Москвы, превратился для меня в болезнь, наваждение, в причину нервного расстройства.

Я ревновал Катю ко всему. К дворику со старыми деревьями, где якобы работал дворником Андрей Платонов и выметал поганой метлой нерадивых студентов, к древнему обветшалому зданию, куда страшно было зайти, – казалось, оно вот-вот рухнет под тяжестью лет, к лавочкам в саду и подоконникам, где курили все кому не лень и лежали растрепанные книги и рукописи. И во всем этом ощущалась такая свобода, такая нега! Сам воздух был пропитан вдохновением как соляной раствор, который сейчас же начнет превращаться в кристаллы и выпадать талантами. Конечно, ее там будут окружать интересные люди, творческие, вольные, поэты, прозаики, критики – а кто был я? Обслуга, младший редактор, почти что цензор, занимающийся полной ерундой. Она бросит меня, встретит другого, более яркого, одаренного, речистого... Однако напрасно я так думал.

Много лет спустя, когда мы с Катей уже давно расстались, я встретил того парня из приемной комиссии. Он сделался известным писателем, держался несколько отстраненно, устало собирая комплименты своим романам, и небрежно раздавал автографы. Было заметно, как ему нравилась его слава, пусть даже он пытался это скрыть, но, когда, подписывая у него книгу в магазине на Тверской, я напомнил писателю про Катю, всю его спесь как рукой сняло. Горький оживился и стал рассказывать, как все парни в институте были в нее влюблены, мечтали закадрить, дрались, бились, спорили, подкатывали к ней, но она всем отвечала, что у нее есть жених и она скоро выйдет замуж.

– У нас даже было творческое задание на семинаре: написать его портрет. А где она теперь?

Его утомленные, опухшие от компьютера глаза уставились на меня с такой бесцеремонностью, что я почувствовал себя в рентгеновском кабинете, и мне захотелось исчезнуть, раствориться в этом пространстве и самому стать книгой с неприметной обложкой, задвинутой на самую дальнюю полку.

Очередь, которая не поместилась в магазине и вывалилась на Тверскую, терпеливо ждала, те, кто стояли непосредственно за мной, благоговейно писателю внимали и смотрели на меня с интересом, а я думал о том, что, слава богу, никто так и не узнал, как я был далек от всех литературных фантазий и ни в какие герои не годился.

Однако вот такая штука, отец Иржи. Ни моей маме, ни сестре Катя не понравилась. Я не сразу решился познакомить ее с ними, но в какой-то момент подумал, что пора. И – ошибся. Получилось плохо, натянуто, неестественно. Мне это было непонятно. Как можно было ее не полюбить, не оценить ее ум, красоту, нежность, хозяйственность наконец – все то, что сразу

же увидел родной мамин брат? И что это было? Женская ревность, неприязнь и они приняли бы в штыки любую девушку, которую я приведу в дом? Или, наоборот, интуиция, и они уже тогда знали, что из-за Кати поломается моя жизнь?

Я не стал ни о чем спрашивать, в нашей семье отношения никогда не выясняли, до конца ничего не проговаривали, все происходило исподволь, по умолчанию, однако в глазах двух моих родных женщин третья оказалась лишней. Лимитчица, бесприданница, охмурила приличного московского мальчика с университетским дипломом – боже мой, какая это была глупость!

Не знаю, возможно, Катя повела себя не так, как они ожидали, может быть, от волнения она держалась во время нашей единственной общей встречи скованно, надменно или, наоборот, чересчур развязно, легкомысленно, и чем сдержаннее и недовольнее были мама и сестра, тем больше гордости и независимости проступало в ней. А может, она слишком откровенно прижималась ко мне или была не так одета... Я в этих вещах ничего не понимал, но почувствовал впервые в жизни, что семья не поддерживает меня, и это открытие привело меня в бешенство. Мы ушли с Катериной вместе и всю ночь ходили по бульварам, отвергнутые, несчастные, даже несколько упивавшиеся своей отверженностью, а потом поднялись на последний этаж доходного дома в Последнем переулке на Сретенке и там долго, горестно и нежно целовались...

И все-таки это был счастливый год. Я делал вид, что учусь быть редактором и снисходительно выслушивал советы своего старенького наставника Альберта Петровича, который гордился тем, что проработал в издательстве сорок лет, знал всех современных писателей и, как Моисей, водил их по советской пустыне и помогал обманывать цензуру. А Катя каждый день ходила в свой игрушечный институт, но очень часто мы сбегали – она с лекций, а я с работы – и гуляли по Москве, которая в тот год сошла с ума: митинговала, протестовала, разбивала палаточные городки и болтала, болтала, болтала. Мы смешивались с людьми, понаехавшими бог знает из каких медвежьих краев в столицу и искавшими в ней правды, слушали самых разных ораторов, – каждый знал наверняка, как обустроить и спасти Россию, – и мы все вместе им хлопали, шикали, кричали, свистели, подписывали письма, прошения, петиции и обращения и сами вступали в бесконечные разговоры и споры. Но больше всего меня поражало, как в огромной толпе внимание к себе привлекали не самые умные и талантливые, но самые наглые, самоуверенные, грубые, и ведь именно такие придут потом к власти. И у нас, и на Украине.

Да, это странный эффект человеческого стада, которое не то возомнило, не то действительно почувствовало себя народом и решило, что от него что-то зависит, но трагически ошиблось в выборе вожаков. Однако все это стало понятно позднее, а тогда после долгого молчания и сидения в советской заперти как же сладко было бродить от человека к человеку и не бояться стукачей, говорить, что думаешь, и знать, что ничего тебе за это не будет. После казенного советства, после строгой английской спецшколы, после чаевских лекций по диамату и истмату с их окончательной и полной победой социализма в одной отдельно взятой стране так трудно было поверить во внезапное полное его поражение, и мы как будто торопились надыхаться этим вольным воздухом: а вдруг перекроют?

Так мы бродили по Москве – юные, чуткие, беспечные. Однажды вышли на «Парке культуры» из метро и увидели толпу, которая отгеснила машины на обочину и валила по Садовому кольцу, требуя отменить шестую статью Конституции. Мы специально не стали заходить внутрь, а просто стояли и смотрели, как они шли мимо нас – свободные, счастливые, раскрепощенные мои сограждане, и этот поток казался бесконечным.

– Нет, на Украине такое невозможно, – произнесла вдруг Катя, и я не понял, чего было больше в ее голосе: досады или радости.

– Почему?

– Там все другое.

– Ничего, и до вас дойдет, – сказал я уверенно.

– Ох, лучше бы не доходило.

Не знаю, что она имела тогда в виду и помнит ли об этих словах сегодня, а я был настолько поглощен московской жизнью, что все происходившее вне Москвы оценивал лишь в зависимости от того, насколько оно нас касалось. Для меня существовал один критерий: за перестройку ты или против, и я назвал бы братом или сестрой каждого, кто орал «Долой!», и всем было понятно, о чем речь.

Каммингс-аут

На ноябрьские праздники мы снова поехали в Купавну. Было очень холодно, неуютно, серо, и наше милое летнее озеро, кое-где возле берегов уже прихваченное льдом, казалось тяжелым, чужим, колючим. По берегам лежал снег, и оттого вода была зловещей и безумно красивой. Снег медленно осыпался с наклонившихся деревьев и разбавлял ее черноту исчезающей белизной. Мы попробовали рыбачить, но леска обмерзала, не клевало. Катя, южное создание, скоро продрогла, и мы вернулись на дачу, но там было еще холоднее, ветер выдувал тепло из щелястого домика, и тогда мы развели в саду здоровенный костер, а потом весело ругались с Кукой, который вместе с овчаркой Найдой прибежал из своей сторожки тушить наш пожар. Пламя отражалось в окнах домика, огромные тени метались вокруг, и Найда прыгала за ними, а стоило отойти от костра, как ты оказывался под такими холодными и яркими звездами, каких не бывает летом, и можно было поверить во все космические путешествия и в пришельцев, которыми мы пугали много лет назад Петьку.

Я рассказывал Кате, как зимой на третьем курсе ходил с Конюхом в поход по Кольскому полуострову, видел северное сияние, ночевал в палатке в лесу, причем спальные мешки мы соединяли и спали по несколько человек, мальчишки вперемежку с девчонками – и ничего. Самое страшное наступало утром, когда надо было надевать замерзшие за ночь, колом стоявшие штаны и влезать в окаменевшие ботинки, и высшим мужским благородством считалось высушить носки девушки у себя на животе.

– И с кем вместе ты спал? Кому сушил? – спросила Катя ревниво.

– Никому, ждал тебя.

Она покачала головой, а я спел ей песенку, которую однажды услышал от Тимохи:

если поесть нельзя так попробуй
закурить но у нас ничего не осталось
чтобы закурить; иди ко мне моя радость
давай поспим
если закурить нельзя так попробуй
спеть но у нас ничего не осталось
чтобы спеть; иди ко мне моя радость
давай поспим
если спеть нельзя так попробуй
умереть но у нас ничего не осталось
чтобы умереть; иди ко мне моя радость
давай поспим
если умереть нельзя так попробуй
помечтать но у нас ничего не осталось
чтобы помечтать (иди ко мне моя радость
давай поспим)¹

Я знал, что пою неважно и в отличие от Тимофея у меня нет ни голоса, ни слуха, но мне нужно было ей это высказать, пусть чужими словами, раз нет своих; а потом мы легли в нашем холодном домике на моей отроческой кровати, крепко-крепко обнялись, и волки, которые гнались за санями на тканом коврикe, подходили к домику и дышали в наши спины. И ветер выл так страшно. У-у-у-у! Да, мы были очень сиротливыми, но поддерживали друг

¹ Пер. с англ. стихотворения Эдварда Эстлина Каммингса. В. Британишского. – *Примеч. авт.*

друга, я любил ее, и мне кажется, эта любовь вызывала лучшее, что было во мне спрятано глубоко-глубоко.

Я ведь вырос порядочным эгоистом – вы, наверное, батюшка, это уже заметили. А вы-то, матушка Анна, уж точно знаете. Но понимаете, мама после смерти отца боялась воспитывать меня строго и в чем-либо отказывать, она меня избаловала до невозможного; ей говорили, просили этого не делать и мои тетки, и сестра, но она была так всем напугана... С сестрой получилось иначе, мама полагала, что девочка крепче, гибче, она все вынесет, а мальчик хрупкий, может не выдержать, сломаться. Я не оправдываю ни ее, ни себя, а просто рассказываю вам, как было. И вот я хочу сказать, что с Катей я почувствовал, как меняюсь не только потому, что становлюсь разговорчивее, а потому, что в моей жизни впервые появился человек, который стал мне дороже самого себя, – новое и совершенно удивительное для меня состояние.

Ночью пошел снег, он укрыл все пространство вокруг, и наш сад, наши грядки, кусты малины и смородины, яблони и вишни – все было покрыто плотным слоем снега. Сразу же сделалось теплее, ярче, светлее, мы дурачились, гонялись друг за дружкой, бросали снежки и падали в сугробы, пока не пришел Кука в кроличьей шапке-ушанке, валенках и овчинном тулупе. На этот раз он был недоволен тем, что мы наследили в переулке, но мы так смеялись, что он махнул рукой и стал смеяться вместе с нами и рассказывать про моего деда, с которым они на купавинских болотах вместе разбивали участки и вешали на кольях гадюк. И про мою бабушку, и про дядьку Алешку, еще молодого, неженатого. Про то, как дружно жили, ходили друг к другу в гости, играли в волейбол, отмечали праздники, и не было тогда между садами и огородами никаких заборов, но после все это появилось и что-то важное из жизни ушло.

Я слушал Куку с удивлением – никогда я не подозревал в мерзком старикашке такой сентиментальности. А потом он надоел нам своей болтовней, и мы пошли к станции. Там забились в теплую электричку и проспали до самой Москвы. Но когда я проводил Катю до общежития на улице Добролюбова и она исчезла в монструозном здании, снизу доверху набитом литературными гениями, ревность начала мучить меня и изводить все сильнее.

Помню, как несколько ночей подряд просыпался в третьем часу и воображал себе поэтов, которые пишут в ее честь стихи, прозаиков, посвящающих ей романы, – трудно ли вскружить голову доверчивой провинциальной девочке? Напоить, охмурить, соблазнить? А может, кто-то уже так и сделал или делает сейчас, в эту минуту, а Катя просто все умело скрывает? Не решается прямо сказать? У них же там это просто. И каждый раз, когда мы встречались после ее семинаров в институте, я долго всматривался в Катину лицо, вслушивался в ее голос и пытался понять, не изменилось ли в ней что-то, не произошло ли, пускай случайно, ужасное, необратимое, и оттого делался мрачен, напряжен, неразговорчив. А Катя не понимала, что со мной творится, тормозила меня, смешила, обижалась, тревожилась, задавала вопросы, на которые я не знал как ответить. Так я мучил ее и мучился сам, пока однажды она не сказала сквозь слезы:

– Я тебя очень прошу, Вячик, не бросай меня, пожалуйста. У меня, кроме тебя, никого тут нет. Ни родных, ни подруг. Никого.

Я посмотрел на нее пораженно: как, почему, откуда такие мысли возникли в ее голове, – и, не в силах больше терпеть, неуклюже признался в том, что меня терзает.

Это было в середине декабря, мы шли по Тверскому бульвару; уже зажглись фонари, вокруг толпился народ, и я ожидал, что Катя рассмеется, а может быть, ей даже станет приятно и она воспримет мою ревность как свидетельство любви и собственной значимости, но она отнеслась ко всему с необычайной важностью. Мы дошли до конца бульвара, и там возле Никитских Ворот семнадцатилетняя девушка, глядя на большую заснеженную церковь, остановилась, истово перекрестилась, а потом повернулась ко мне и сказала:

– Я никогда не была и обещаю тебе, что никогда не буду с другим мужчиной.

Она стояла передо мной юная, строгая, торжественная, в длинном драповом пальто и пуховом платке, засыпанном снегом, ресницы ее дрожали, а черные глаза блестели в неверных московских сумерках и смотрели на меня, матушка Анна, так серьезно, так непреклонно, что какой-то частью души я вдруг пожалел, что выпросил, выклянчил у ребенка эту страшную клятву, смысла которой она и оценить-то не может. А потом обнял, прижал ее к себе, как когда-то в Крыму на лавочке над морем, но тревога моя не сделалась от этого меньше, и тем острее мне не хотелось никуда Катю от себя отпускать, а жить и делать все вместе с ней: ложиться спать и просыпаться, ходить в магазин, готовить еду, убираться, – и чем приземленнее и проще будут наши дни и поступки, тем лучше. Кажется, я даже говорил об этом, целуя в холодные, мокрые от снежинок щеки и теплые губы, и мы снова бродили до полуночи, мерзли, а когда замерзали, то поднимались в чужие подъезды и там без конца целовались.

Катя сказала, что есть смысл сходить к новому ректору, быть может, он разрешит нам жить в общежитии вместе, ведь все говорят о нем как о справедливом и великодушном руководителе. Однако я не хотел ни у кого одалживаться. Я тогда был гордым и еще не потерял веру в себя. А значит, надо было искать деньги, чтобы снимать квартиру. Пускай не в Москве, а где-то в пригородах, в Старой Купавне, например, в Балашихе или в Железнодорожном, там это могло быть дешевле. Я боялся, что Катя станет капризничать, но она была очень непритязательна, терпелива, она видела, как я переживаю, и всегда поддерживала меня. Мне важно вам об этом сказать, потому что как бы ни складывались наши отношения потом – она была славным, добрым человеком.

Я не знал, что делать, и поехал на могилу к отцу. Кладбище находилось далеко от Москвы, и я бывал там не очень часто, но подобно тому как некоторые люди ходят в церковь, когда им плохо, так и я ездил к отцу и разговаривал с ним. Не помощи просил, а просто о себе рассказывал. И вот я стал говорить ему про Катю. Мне кажется, он бы сразу ее полюбил и сумел бы убедить маму и Ленку в том, что она хорошая, верная. В тот день случилась оттепель, туман, я не сразу нашел могилу, ноги у меня промокли, но я курил и не уходил от ограды. А он смотрел на меня с фотографии на памятнике без креста, тридцатипятилетний веселый человек, и все понимал.

Господи, кому и зачем было надо, чтоб все это закончилось?

Голова Гоголя

В начале мая становится тепло, и Одиссей дает мне свой велосипед. Он плохо приспособлен для горных дорог, шины у него не надувные, а сплошные, преимущество их в том, что их невозможно проколоть, но зато они чувствуют каждую неровность земли. Переключатель скоростей отсутствует, и даже не на очень крутых подъемах мне приходится слезать и идти с ним в гору; и наоборот, свободно катиться вниз я боюсь, потому что не доверяю ни тормозам, ни своим рукам и ногам. Но все равно велосипед – это счастье. Я все чаще отпрашиваюсь у отца Иржи и, к неудовольствию матушки Анны, с утра укатываю на велике и гоняю целый день.

Впрочем, гоняю – громко сказано. Это меня обгоняют блестящие профессионалы на горных велосипедах с очень толстыми или очень тонкими шинами; они презрительно проносятся мимо, низко наклонившись над рулем в своих обтягивающих штанах, крупных очках и шлемах. Я по сравнению с ними задыхающийся чайник, жигуль перед мерседесом. Этот дрындопед уступает даже купавинской «Украине» моего детства, но меня это нисколько не смущает. Сижую прямо, медленно кручу педали и еду куда заблагорассудится. Я не садился на велик лет тридцать, последний раз это было опять-таки в Купавне, которую я объездил в детстве вдоль и поперек, и теперь мне жутко нравится вспоминать руками и ногами, всем своим телом, как это было. Должно быть, я достиг того возраста, когда душа уже не просит ничего нового, а больше всего хочет вернуться в прошлое и делать то, что любила тогда.

Вокруг нашей деревушки множество живописных мест, долин, ручьев, пригорков, озер с реликтовыми цветами, пещер и один городок. У него смешное название – Есеник. По написанию похоже на Есенин. Но ударение, как всегда у чехов, на первый слог, хотя корень может быть и общий, связанный с осенью. Городишко небольшой, со старыми домами, красивой площадью, ратушей, торговой улицей, школой, с железнодорожной станцией. Я качу по улицам, где совсем не слышно русской речи, – русские обыкновенно едут на запад, в Карловы Вары, – и мне это нравится. Не хотелось бы встретиться с кем-нибудь из соотечественников.

Но однажды в неприметном месте, в стороне от центра, среди обычных современных домов вдруг замечаю памятник. Это голова человека на довольно высоком, выше человеческого роста, прямоугольном постаменте, и она кажется мне знакомой. Подъезжаю ближе.

Ба! Гоголь!

Точно он, и внизу по-чешски что-то написано. Если я правильно понимаю, он тут лечился. Вероятно, в санатории, который находится выше по склону, – его старинное, красивое здание, окруженное павильонами, беседками, открытыми бассейнами, скульптурными группами, аллеями и дорожками для пешеходных прогулок разной сложности и продолжительности, видно издалека.

Батюшки мои, я-то всё думал про себя, что едва ли не первый русский, кто по своей воле ступил на эту землю, ан – нет. Вечером у грека залезаю в интернет и выясняю, что Гоголь бывал в здешних краях дважды и оба раза его запикивали на несколько часов в ванну с холодной водой и энное количество воды заставляли принимать внутрь. Такие были методы лечения у местного доктора-самоучки, бывшего пастуха, который этот курорт придумал и был помешан на гидропатии и трудовой терапии. Кормил пациентов грубой пищей и заставлял с утра до вечера работать на свежем воздухе. В сущности, создал трудовой лагерь.

Первый раз Гоголю тут понравилось, и он написал матушке, что благодаря холодному лечению припадки его не так тяжки и страдания духа на время угасают. Но год спустя сжег в здешней печи второй том, а затем, спасаясь от сурового пастушьего распорядка, сбежал из Есеника в бельгийский Остенде. Точнее, не из Есеника, этот городок назывался тогда по-другому, и жили здесь не чехи, а немцы, у которых потребность создавать лагеря, должно быть, в крови. Это другая тема, и мне от нее не уйти – хозяин дома, чей дух бродит по комнатам, ко

мне взывает, и рано или поздно я буду должен докопаться до правды, хотя о судетских немцах здесь говорят очень неохотно. А вернее, просто молчат.

Но Гоголь, Гоголь...

Через несколько дней снова проезжаю мимо памятника. Не случайно, нет – меня тянет к этому персонажу. Для Катерины он предатель, отступник, отказался от мовы в пользу клятого русского языка и был за это наказан безумием. А для меня? Я покупаю в «Потравинах у Адама» пиво и сажусь на асфальт напротив памятника. Голова Гоголя чуть наклонена и смотрит на меня печально, с укором, но и с какой-то усмешкой. Конечно, это трогательно, что чехи поставили ему памятник, и критиковать сей монумент было бы неловко, но положить руку на сердце памятник не очень удачный. А впрочем, когда ему с памятниками везло?

Гоголь, Гоголь, кто вас выдумал и кто вы нам? Друг, враг, лазутчик, патриот, русский монархист или тайный украинофил? За что не любил вас Розанов и знали ли вы, что в вашей стране произойдет? Как вы там сказали... Пушкин – это русский человек, каким он явится через двести лет. Ну вот, прошли они, эти двести лет, вот все исполнилось – и что? Страну разворовали, ограбили, обкорнали, дворцов себе понастроили, лживых попов наплодили – кто? Пушкины? Мне стыдно за банальные обывательские мысли, но если я лузер, то почему в моей голове должны быть другие? А птица-тройка ваша дурацкая, а Русь святая, которую сторонятся другие народы? Сторонятся они, как же! Шарахаются от нее и гонят отовсюду! Вы даже вообразить себе, голубчик, этого не можете. Ни одному русскому царю такого не снилось. Даже тому, кто рыбу в гатчинском пруду удил, покуда Европа ждала со своими вопросами. И вам, Николай Васильевич, это всё как? Нравится? Мчится она неведомо куда... Ну, положим, не мчится, а еле тащится, только хотелось бы пусть приблизительно знать направление. Может, подскажите из выбранных мест в вашей переписке?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.